

В. С. ЖИТКОВ

ЧТО БЫВАЛО



Предисловие

Борис Степанович Житков, один из любимых детских писателей, родился в 1882 году. Семья Житковых жила в то время в Новгороде. Когда Житкову исполнилось семь лет, семья переехала в Одессу.

Борис Степанович перепробовал в жизни много профессий. Он был рыбаком, охотником, строил корабли в доках, работал на верфях, был учителем, механиком, капитаном, дрессировщиком животных.

Борис Степанович никогда не сидел сложа руки. Он был всесторонне образованный, жадный до всякого знания, до всякого дела человек. Все дни его были наполнены трудом. И за какое бы дело он ни брался, всегда он стремился разгадать его тайну и становился в нём мастером. Он знал десятки ремёсел и во всякое дело вносил своё умение, свою сноровку. Обязательно что-нибудь да придумает: или инструмент улучшит, или найдёт новый приём в работе.

Ещё мальчиком лет семи он хорошо пилил, стругал и даже устроил себе маленькую столярную мастерскую.

В Одессе, в самой гавани, у военного мола постоянно толпился народ: матросы с русских и иностранных кораблей, грузчики, портовые рабочие. А кругом шум, гудки пароходов, звон лебёдок, разноязычный говор и горы всякого груза: дерево, хлопок, табак, фрукты.

Сколько интересных историй услышал здесь Борис Степанович! На всю жизнь он привязался к морю. Он рано научился плавать и слыл самым лучшим пловцом в Одессе. Прекрасно грёб, в любую погоду смело выходил в море на парусной шлюпке, а в студенческие годы сам вместе с товарищем построил небольшой парусный бот с каютой. Житков усердно посещал яхт-клуб, строил яхты, участвовал в гонках и даже успел сдать экзамен на штурмана дальнего плавания и сам водил корабли.

Летом 1905 года, когда началась первая русская революция, а на броненосце «Потёмкин» взвился красный флаг, студент Житков ночью на паруснике, притушив огни, перевозил оружие восставшим одесским матросам и портовым рабочим.

Но не меньше, чем море, любил Борис Степанович науку и музыку. Он был хорошим скрипачом, изучал химию, физику, ботанику. Ему предлагали остаться в университете для научной работы, он мог бы стать выдающимся учёным.

Но Бориса Степановича манили вольные ветры и морские просторы.

И где только он не побывал!

Житков много ездил по России, жил и за границей. Гимназистом в летние каникулы он из Одессы ездил в Сибирь к своему товарищу. А побережье Чёрного моря исходил вдоль и

поперек. В 1912 году летом он отправился на учебно-грузовом судне в кругосветное плавание. Начал он это плавание юнгой, затем стал кочегаром и к концу путешествия уже был помощником капитана. Был в Индии, на Цейлоне, в Китае, в Японии. Он объездил всю Англию на мотоцикле, жил во Франции, в Дании — словом, исколесил почти весь мир.

Путешествуя по разным странам, Борис Степанович сам увидел, как тяжело живётся трудовому человеку при капиталистах, и на всю жизнь возненавидел гнилой рабский мир богачей, помещиков, фабрикантов — всех, кто жил за счёт чужого труда.

Обо всём, что знал и видел, Борис Степанович захотел рассказать другим. Он стал писателем.

Первый рассказ для детей Житков написал в 1923 году.

Он любил рассказывать о том, что бывало в жизни. А бывало много и хорошего, и трудного, а подчас и опасного. Случались пожары, бушевали метели, ветры ломали льды и уносили в море рыбаков. Обо всём этом хорошо умел рассказывать Борис Степанович Житков в своих книгах. Сам он был мужественный человек и писать любил про смелых и мужественных людей. Красный командир, остановивший бешеных лошадей, доктор, который спешил к больной девочке, пожарник, вынесший из огня мальчика, — всё это отважные и умелые люди. Рассказывая про них, Борис Степанович никогда не забывал сказать своему читателю: не робей, не теряйся в опасности! Какая бы ни случилась беда — пожар или наводнение, — знай, что всегда спешат на помощь друг другу советские люди. Ты не один, кругом — твоя советская земля, и помощь всегда придёт.

Любил Житков рассказывать в своих книгах и про птиц и про животных, жизнь и повадки которых он отлично знал. В Индии он видел слонов в лесу, на работе, наблюдал, как они таскают брёвна, как нянчат детей; видел, как маленький зверёк мангуста воюет со страшной змеей; как умны, шаловливы и надоедливы обезьянки вроде Яшки. Он написал ещё много книг о том, как устроены разные машины, паровоз, пароход, как работает телеграф. Не все книги, которые он задумал, были им написаны. Собирался он написать и увлекательную книгу об истории корабля. Но смерть помешала ему. Он умер в 1938 году, но книги его по-прежнему доставляют радость нашим маленьким читателям.

В. Фраерман

ЧТО БЫВАЛО

Наводнение

В нашей стране есть такие реки, что не текут всё время по одному месту. Такая река то бросится вправо, потечёт правее, то через некоторое время, будто ей надоело здесь течь, вдруг переползёт влево и зальёт свой левый берег. А если берег высокий, вода подмоет его. Крутой берег обвалится в реку, и если на обрыве стоял домик, то полетит в воду и домик.

Вот по такой реке шёл буксирный пароход и тащил две баржи. Пароход остановился у пристани, чтобы там оставить одну баржу, и тут к нему с берега приехал начальник и говорит:

— Капитан, вы пойдёте дальше. Будьте осторожны, не сядьте на мель: река ушла сильно вправо и теперь течёт совсем по другому дну. И сейчас она идёт всё правее и правее и затопляет и подмывает берег.

— Ох, — сказал капитан, — мой дом на правом берегу, почти у самой воды. Там остались жена и сын. Вдруг они не успели убежать?

Капитан приказал пустить машину самым полным ходом. Он спешил скорей к своему дому и очень сердился, что тяжёлая баржа задерживает ход.

Пароход немного проплыл, как вдруг его сигналом потребовали к берегу. Капитан поставил баржу на якорь, а пароход направил к берегу.

Он увидел, что на берегу тысячи людей с лопатами, с тачками спешат — возят землю, насыпают стенку, чтобы не пустить реку залить берег. Возят на верблюдах деревянные брёвна, чтоб их забивать в берег и укреплять стенку. А машина с высокой железной рукой ходит по стенке и ковшом нагребает на неё землю.

К капитану прибежали люди и спросили:

— Что в барже?

— Камень, — сказал капитан.

Все закричали:

— Ах, как хорошо! Давайте сюда! А то вон, смотрите, сейчас река прорвёт стенку и размочит всю нашу работу. Река бросится на поля и смочит все посева. Будет голод. Скорей, скорей давайте камень!

Тут капитан забыл про жену и про сына. Он пустил пароход что есть духу и привёл баржу под самый берег.

Люди стали таскать камень и укрепили стенку. Река остановилась и дальше не пошла. Тогда капитан спросил:

— Не знаете ли, как у меня дома?

Начальник послал телеграмму, и скоро пришёл ответ. Там тоже работали все люди, какие были, и спасли домик, где жила жена капитана с сыном.

— Вот, — сказал начальник, — здесь вы помогли нашим, а там товарищи спасли ваших.

Красный командир

Ехала мать в город с малыми ребятами в бричке. Вот въехали они уже в улицу, вдруг лошади чего-то испугались и понесли. Кучер со всей силы вожжи натянул, совсем назад отвалился, — ничего лошади не чуют, несут во весь опор, вот-вот бричка перевернётся.

Мать детей обхватила и кричит:

— Ой, держите, держите!

А прохожие в стороны шарахаются, к домам жмутся и сами кричат:

— Держите! Держите!

Навстречу возчик с возом сена. Испугался возчик, скорей в сторону, чуть свой воз не опрокинул и кричит: «Держите! Держите!» А бричка несётся, лошади скачут как бешеные. Вот-вот бричка разломается, и все полетят на каменную мостовую со всего разлёта.

Вдруг из-за угла выехал красный командир на лошади. А бричка прямо на него несётся. Понял командир, в чём дело. Ничего не крикнул, а повернул своего коня и стал бричке наперерез.

Все глядели, ждали, что ускачет командир, как близко подлетят бешеные лошади. А командир стоит, и конь под ним не шелохнётся. Вот уж совсем налетает бричка, — вдруг лошади опомнились и стали. Чуть-чуть до командира не доехали. А командир толкнул коня ногой и поехал дальше.

Пожар

Петя с мамой и сёстрами жил в верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. Вот раз мама пошла с девочками купаться. А Петя остался один стеречь квартиру.

Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. Она была из железной трубки. В середину Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтобы зажигать порох. Но сколько Петя ни старался, он не мог никак поджечь. Петя очень рассердился. Он пошёл в кухню. Наложил в плиту щепок, полил их керосином, положил сверху пушку и зажёл. «Теперь небось выстрелит!»

Огонь разгорелся, загудел в плите — и вдруг как бахнет выстрел! Да такой, что весь огонь из плиты выкинуло.

Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не слышал. Петя убежал подальше. Он думал, что, может быть, всё само потухнет. А ничего не потухло. И ещё больше разгорелось.

Учитель шёл домой и увидал, что из верхних окон идёт дым. Он побежал к столбику, где за стеклом была сделана кнопка. Это звонок к пожарным. Учитель разбил стекло и надавил кнопку.

У пожарных зазвонило. Они скорее бросились к своим пожарным автомобилям и помчались во весь дух. Они подъехали к столбику, а там учитель показал им, где горит. У пожарных на автомобиле был насос. Насос начал качать воду, а пожарные стали заливать огонь водой из резиновых труб. Пожарные приставили лестницы к окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме людей. В доме никого не было. Пожарные стали выносить вещи.

Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер никого не пускал близко, чтобы не мешали пожарным. Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петинной маме.

А Петина мама всё плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что его нигде не видно.

А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидели и насильно привели.

Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. Пожарные сели в свои автомобили и уехали назад. А учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом.

Обвал

Девочка Валя ела рыбу и вдруг подавилась косточкой. Мама закричала:

— Съешь скорее корку!

Но ничего не помогало. У Вали текли из глаз слёзы. Она не могла говорить, а только хрипела и махала руками.

Мама испугалась и побежала звать доктора. А доктор жил за сорок километров. Мама сказала ему по телефону, чтоб он скорей, скорей приезжал.

Доктор сейчас же собрал свои щипчики, сел в автомобиль и поехал к Вале. Дорога шла по берегу. С одной стороны было море, а с другой стороны — крутые скалы. Автомобиль мчался во весь дух.

Доктор очень боялся за Валю.

Вдруг впереди одна скала рассыпалась на камни и засыпала дорогу. Ехать стало нельзя. Было ещё далеко. Но доктор всё равно хотел идти пешком.

Вдруг сзади затрубил гудок. Шофёр посмотрел назад и сказал:

— Погодите, доктор, помощь идёт!

А это спешил грузовик. Он подъехал к завалу. Из грузовика выскочили люди. Они сняли с грузовика машину-насос и резиновые трубы и провели трубу в море.

Насос заработал. По трубе он сосал из моря воду, а потом гнал её в другую трубу. Из этой трубы вода вылетала с страшной силой. Она с такой силой вылетала, что конец трубы людям нельзя было удержать: так он трясся и бился. Его привинтили к железной подставке и направили воду прямо на обвал. Получилось, как будто стреляют водой из пушки. Вода так сильно била по обвалу, что сбивала глину и камни и уносила их в море. Весь обвал вода смыла с дороги.

— Скорей, едем! — крикнул доктор шофёру.

Шофёр пустил машину. Доктор приехал к Вале, достал свои щипчики и вынул из горла косточку.

А потом сел и рассказал Вале, как завалило дорогу и как насос-гидротаран размыл обвал.

Как тонул один мальчик

Один мальчик пошёл ловить рыбу. Ему было восемь лет. Он увидел на воде брёвна и подумал, что это плот: так они плотно лежали одно к другому.

«Сяду я на плот, — подумал мальчик, — а с плота можно удочку далеко забросить!»

Почтальон шёл мимо и видел, что мальчик идёт к воде.

Мальчик шагнул два шага по брёвнам — брёвна разошлись, и мальчик не удержался, упал в воду между брёвнами. А брёвна опять сошлись и закрылись над ним, как потолок.

Почтальон схватился за сумку и побежал что есть мочи к берегу.

Он всё время глядел на то место, где упал мальчик, чтобы знать, где искать.

Я увидел, что сломя голову бежит почтальон, и я вспомнил, что шёл мальчик, и вижу — его не стало.

Я в тот же миг пустился туда, куда бежал почтальон.

Почтальон стал у самой воды и пальцем показывал в одно место.

Он не сводил глаз с брёвен. И только сказал:

— Тут он!

Я взял почтальона за руку, лёг на брёвна и просунул руку, куда показывал почтальон. И как раз там, под водой, меня стали хватать маленькие пальчики. Мальчик не мог вынырнуть. Он стучался головой о брёвна и искал руками помощи. Я ухватил его за руку и крикнул почтальону:

— Тяни!

Мы вытащили мальчика. Он почти захлебнулся. Мы его стали тормошить, и он пришёл в себя. А как только пришёл в себя, он заревел.

Почтальон поднял удочку и говорит:

— Вот и удочка твоя. Чего ты ревьешь? Ты на берегу. Вот солнышко!

А он:

— Ну да, а картуз мой где?

Почтальон махнул рукой:

— Чего слёзы-то льёшь? И так мокрый. И без картуза мамка тебе обрадуется. Беги домой!

А мальчик стоял.

— Ну, найди ему картуз, — сказал почтальон, — а мне надо идти.

Я взял у мальчика удочку и стал шарить под водой. Вдруг что-то нацепилось, я вынул. Это был лапоть.

Я ещё долго шарил. Наконец вытащил какую-то тряпку. Мальчик сразу узнал, что это картуз. Мы выжали из него воду. Мальчик засмеялся и сказал:

— Ничего, на голове обсохнет!

Дым

Никто этому не верит. А пожарные говорят:

— Дым страшнее огня. От огня человек убегает, а дыму не боится и лезет в него. И там задыхается. И ещё: в дыму ничего не видно. Не видно, куда бежать, где двери, где окна. Дым ест глаза, кусает в горле, щиплет в носу.

И пожарные надевают на лицо маски, а в маску по трубке идёт воздух. В такой маске можно долго быть в дыму, но только всё равно ничего не видно.

И вот один раз тушили пожарные дом. Жильцы выбежали на улицу. Старший пожарный крикнул:

— А ну, посчитайте, все ли?

Одного жильца не хватало.

И мужчина закричал:

— Петька-то наш в комнате остался!

Старший пожарный послал человека в маске найти Петьку. Человек вошёл в комнату.

В комнате огня ещё не было, но было полно дыму. Человек в маске обшарил всю комнату, все стены и кричал со всей силы через маску:

— Петька, Петька! Выходи, сгоришь! Подай голос!

Но никто не отвечал.

Человек услышал, что валится крыша, испугался и ушёл.

Тогда старший пожарный рассердился:

— А где Петька?

— Я все стены обшарил, — сказал человек.

— Давай маску! — крикнул старший.

Человек начал снимать маску. Старший видит — потолок уже горит. Ждать некогда.

И старший не стал ждать — окунул рукавицу в ведро, заткнул её в рот и бросился в дым.

Он сразу бросился на пол и стал шарить. Наткнулся на диван и подумал: «Наверное, он туда забился, там меньше дыму».

Он сунул руку под диван и нащупал ноги. Схватил их и потянул вон из комнаты.

Он вытянул человека на крыльцо. Это и был Петька. А пожарный стоял и шатался. Так его заел дым.

А тут как раз рухнул потолок, и вся комната загорелась.

Петьку отнесли в сторону и привели в чувство. Он рассказал, что со страху забился под диван, заткнул уши и закрыл глаза. А потом не помнит, что было.

А старший пожарный для того взял рукавицу в рот, что через мокрую тряпку в дыму дышать

легче.

После пожара старший сказал пожарному:

— Чего по стенам шарил? Он не у стенки тебя ждать будет. Коли молчит, так, значит, задохнулся и на полу валяется. Обшарил бы пол да койки, сразу бы и нашёл.

На льдине

Зимой море замёрзло. Рыбаки всем колхозом собрались на лёд ловить рыбу. Взяли сети и поехали на санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с ним — его сынишка Володя. Выехали далеко-далеко. И куда кругом ни глянь, всё лёд и лёд: это так там замёрзло море. Андрей с товарищами заехал дальше всех. Наделали во льду дырок и сквозь них стали запускать сети. День был солнечный, всем было весело. Володя помогал выпутывать рыбу из сетей и очень радовался, что много ловилось. Уже большие кучи мороженой рыбы лежали на льду. Володин папа сказал:

— Довольно, пора по домам.

Но все стали просить, чтоб остаться ночевать и с утра снова ловить. Вечером поели, завернулись поплотней в тулупы и легли спать в санях. Володя прижался к отцу, чтоб было теплей, и крепко заснул.

Вдруг ночью отец вскочил и закричал:

— Товарищи, вставайте. Смотрите, ветер какой! Не было бы беды!

Все вскочили, забегали.

— Почему нас качает? — закричал Володя.

А отец крикнул:

— Беда! Нас оторвало и несёт на льдине в море.

Все рыбаки бегали по льдине и кричали:

— Оторвало, оторвало!

А кто-то крикнул:

— Пропали!

Володя заплакал. Днём ветер стал ещё сильнее, волны набегали на льдину, а кругом было только море. Володин папа связал из двух шестов мачту, привязал на конце красную рубаху и поставил, как флаг. Все глядели, не видать ли где парохода. От страха никто не хотел ни есть, ни пить. А Володя лежал в санях и смотрел в небо: не глянет ли солнышко. И вдруг в прогалине между туч Володя увидел самолёт и закричал:

— Самолёт! Самолёт!

Все стали кричать и махать шапками. С самолёта упал мешок. В нём была еда и записка: «Держитесь! Помощь идёт!» Через час пришёл пароход и перегрузил к себе людей, сани, лошадей и рыбу. Это начальник порта узнал, что на льдине унесло восьмерых рыбаков. Он

послал им на помощь пароход и самолёт. Лётчик нашёл рыбаков и по радио сказал капитану парохода, куда идти.

Белый домик

Мы жили на берегу моря, и у моего папы была хорошая лодка с парусами.

Я отлично умел на ней ходить — и на вёслах и под парусами. И всё равно одного меня папа никогда в море не пускал. А мне было двенадцать лет.

Вот раз мы с сестрой Ниной узнали, что отец на два дня уезжает из дому, и затеяли уйти на шлюпке на ту сторону, а на той стороне залива стоял очень хорошенький домик, беленький, с красной крышей... А кругом домика росла рощица. Мы там никогда не были и думали, что там очень хорошо. Наверно, живут добрые старик со старушкой. А Нина говорит, что непременно у них собачка, и тоже добрая. А старики, наверно, простоквашу едят, и нам обрадуются, и простокваши дадут.

И вот мы стали копить хлеб и собирать бутылки для воды — в море-то ведь вода солёная, а вдруг в пути пить захочется.

Вот отец вечером уехал, а мы сейчас же налили в бутылки воды, потихоньку от мамы, а то спросит — зачем, и тогда всё пропало.

Чуть только рассвело, мы с Ниной тихонько вылезли из окошка, взяли с собой наш хлеб и бутылки в шлюпку. Я поставил паруса, и мы вышли в море.

Я сидел, как капитан, а Нина меня слушалась, как матрос.

Ветер был лёгонький, и волны были маленькие, и у нас с Ниной выходило, будто мы на большом корабле, у нас есть запасы воды и пищи и мы идём в другую страну. Я правил прямо на домик с красной крышей. Потом я велел сестре готовить завтрак. Она наломала меленько хлеба и откупила бутылку с водой.

Она всё сидела на дне шлюпки, а тут как встала, чтобы мне подать, да как глянула назад, на наш берег, — так закричала, что я даже вздрогнул:

— Ой, наш дом еле видно! — и хотела реветь.

Я сказал:

— Рёва, зато старичков домик близко.

Она поглядела вперёд и ещё хуже закричала:

— И старичков домик далеко, нисколько мы не подъехали, а от нашего дома уехали!

Она стала реветь, а я назло стал есть хлеб, как ни в чём не бывало.

Она редела, а я приговаривал:

— Хочешь назад — прыгай за борт и пльви домой, а я иду к старичкам.

Потом она попила из бутылки и заснула. А я всё сажу у руля, и ветер не меняется и ровно дует.

Шлюпка идёт гладко, и за кормой вода журчит.

Солнце уже высоко стояло.

И вот я вижу, что мы совсем близко уж подходим к тому берегу и домик хорошо виден. Вот пусть теперь Нинка проснётся да глянет — вот обрадуется!

Я глядел, где там собачка. Но ни собачки, ни старичков видно не было.

Вдруг шлюпка споткнулась, стала и наклонилась набок. Я скорей опустил парус, чтобы совсем не опрокинуться. Нина вскочила. Спросонья не знала, где она, и глядела, вытаращив глаза. Я сказал:

— В песок ткнулись. Сели на мель. Сейчас я спихну. А вон домик.

Но она и домику не обрадовалась, а ещё больше испугалась. Я разделся, прыгнул в воду и стал спихивать.

Я выбился из сил, но шлюпка — ни с места. Я её клонил то на один, то на другой борт. Я спустил паруса, но ничто не помогало.

Нина стала кричать, чтобы старичок нам помог. Но было далеко, и никто не выходил. Я велел Нинке выпрыгнуть, но и это не облегчило шлюпку: шлюпка прочно вкопалась в песок. Я пробовал пойти вброд к берегу. Но во все стороны было глубоко, куда ни сунься, и никуда нельзя было уйти. И так далеко, что и доплыть нельзя.

А из домика никто не выходил.

Я поел хлеба, запил водой и с Ниной не говорил. А она плакала и приговаривала:

— Вот завёз, теперь здесь нас никто не найдёт. Посадил на мель среди моря. Капитан! Мама с ума сойдёт. Вот увидишь. Она так и говорила: «Если с вами что, я с ума сойду».

А я молчал. Ветер совсем затих. Я взял и заснул.

Когда я проснулся, было совсем темно. Нинка хныкала, забившись в самый нос, под скамейку.

Я встал на ноги, и шлюпка под ногами качнулась легко и свободно. Я нарочно качнул её сильнее. Шлюпка на свободе. Вот я обрадовался-то! Ура! Мы снялись с мели. Это ветер переменился, нагнал воды, шлюпку подняло, и она сошла с мели.

Я огляделся. Вдали блестели огоньки — много-много. Это на нашем берегу: крохотные, как искорки. Я бросился поднимать паруса. Нина вскочила и думала сначала, что я с ума сошёл. Но я ничего не сказал. А когда уже направили шлюпку на огоньки, сказал ей:

— Что, рёва, вот и домой идём. А реветь нечего.

Мы всю ночь шли. Под утро ветер перестал. Но мы были уже под берегом.

Мы на вёслах догреблись до дому. Мама и сердилась и радовалась сразу. Но мы выпросили, чтобы отцу ничего не говорила.

А потом мы узнали, что в том домике уже целый год никто не живёт.

Как я ловил человечков

Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке парходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба жёлтая, и на ней два чёрных пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам верёвочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме — медное рулевое колесо. Снизу под кормой — руль. И блестел перед рулём винт, как медная розочка. На носу — два якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у меня такой был!

Я сразу запросил у бабушки, чтоб поиграть парходиком. Бабушка мне всё позволяла. А тут вдруг нахмурилась:

— Вот это уж не проси. Не то играть — трогать не смей. Никогда! Это для меня дорогая память.

Я видел, что если и заплакать — не поможет.

А парходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать.

А бабушка:

— Дай честное слово, что не прикоснёшься. А то лучше спрячу-ка от греха.

И пошла к полке.

Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом:

— Честное-расчестное, бабушка! — И схватил бабушку за юбку.

Бабушка не убрала парходика.

Я всё смотрел на парходик. Влезал на стул, чтоб лучше видеть. И всё больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И, наверно, в нём живут человечки. Маленькие, как раз по росту парходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверно, поглядывают. А когда дома никого нет, выходят на палубу. Лазят, наверно, по лестничкам на мачты.

А чуть шум — как мыши: юрк в каюту. Вниз — и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я прятался за дверь и глядел в щёлку. А они, хитрые человечки, знают, что я подглядываю. Ага! Они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые.

Я стал быстро-быстро глотать чай. И запросился спать.

Бабушка говорит:

— Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут этакую рань и спать просишься.

И вот, когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно парходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела.

Бабушка:

— Чего ты всё ворочаешься?

— А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают.

Это я наврал: дома ночью темно.

Бабушка заворчала, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел. Но всё же было видно, как блестел парходик на полке.

Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. И из дырочки глядел не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на парходике мне всё стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо. Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился — шорох этот на парходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание спёрло. Я чуть двинулся вперёд. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка!

Теперь уж нечего было ждать, и я заснул. Я с горя заснул.

На другой день я вот что придумал. Человечки, наверно же, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на парходик, около будочки. Около самых дверей. Но такой кусок, чтоб сразу в их дверцы не пролез. Вот они ночью двери откроют, выглянут в щёлочку. Ух ты! Конфетища! Для них это — как ящик целый. Сейчас выскочат, скорей конфетину к себе тащить. Они её в двери, а она не лезет! Сейчас сбегают, принесут топорики — маленькие-маленькие, но совсем всамделишные — и начнут этими топориками тукать: тук-тук! И скорей проталкивать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы всё вёртко. Чтоб не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. Тут, если я и скрипну, всё равно им не поспеть: конфетина в дверях застрянет — ни туда, ни сюда. Пусть убегут, а всё равно видно будет, как они конфетину тащили. А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать! И я найду на парходе на палубе малюсенький настоящий топорик, остренький-преостренький.

И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз какой хотел. Выждал минуту, когда бабушка в кухне возилась, раз-два — на стол ногами, и положил леденец у самой дверки на парходике. Их полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затёр, что ногами наследил. Бабушка ничего не заметила.

Днём я тайком взглядывал на парходик. Повела бабушка, меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец и я их не поймаю. Я дор

о гой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на парходик. Леденец, как был, — на месте. Ну да! Дураки они — днём браться за такое дело!

Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце, острым огоньком. Я глядел, глядел на этот огонёк и заснул, как назло! Человечки меня перехитрили. Я утром глянул — леденца не было, а встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел — топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать: работали не спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось — всё подобрали.

Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было. Чуть только крошек осталось. Ну, понятно, им хлеба-то не особенно жалко, не конфеты: там каждая крошка для них леденец.

Я решил, что у них на парходике с обеих сторон идут лавки. Во всю длину. И они днём там сидят рядом и тихонечко шепчутся. Про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа.

Я всё время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку, вроде маленького коврика, и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу, ножки запачкают и наследят по всему пароходнику. Я хоть увижу, какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими штуками.

Я не мог больше терпеть.

И вот — я решил непременно взять пароходик и посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой в гости таскала. Всё к каким-то старухам. Сиди — и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня.

Вот я вижу — бабушка собирается: стала собирать печенье в коробочку для этих старух — чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязанные и натёр себе и лоб и щёки — всё лицо, одним словом. Не жалея. И тихонько прилёг на кровать.

Бабушка вдруг хватилась:

— Боря, Борюшка, где ж ты?

Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне:

— Что это ты лёг?

— Голова болит.

Она тронула лоб.

— Погляди-ка на меня! Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись без разговору.

Стала помогать мне, уложила, увернула одеялом и всё приговаривала: «Я сейчас вернусь, живым духом».

Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут: а вдруг вернётся? Вдруг забыла там что-нибудь?

А потом я вскочил с постели, как был, в рубаше. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать: не шевелятся ли? Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил их пароход. Ага! Сидите там на лавочке и примолкли, как мыши. Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они там болтаются. Но внутри было тихо.

Я понял: они сидят на лавках, ноги поджали и руками что есть сил уцепились в сиденья. Сидят, как приклеенные.

Ага! Так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с пароходика, чтобы не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно всё заделано!

Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти верёвочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать — иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово, все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу делать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щёлку, чтобы пролезть одному. Он ползет, а

я его — хлоп! — и захопну, как жука в ладони.

Я ждал и держал руку наготове — схватить.

Не лезет ни один! Я тогда решил сразу отвернуть палубу и туда в середку рукой — прихлопнуть. Хоть один да попадётся. Только надо сразу: они уж там небось приготовились — откроешь, а человечки прыск все в разные стороны.

Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутри рукой. Ничего. Совсем, совсем ничего! Даже скамеек этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я поднял руку. Под рукой, конечно, ничего.

У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Всё криво становилось. И лесенки никак не приделать. Они болтались как попало.

Я кой-как приткнул палубу на место и поставил парходик на полку. Теперь всё пропало!

Я скорей бросился в кровать, завернулся с головой.

Слышу ключ в дверях.

— Бабушка! — под одеялом шептал я. — Бабушка миленькая, родненькая, чего я наделал-то!

А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила:

— Да чего ты ревьешь, да плачешь-то чего? Родной ты мой, Борюшка! Видишь, как я скоро?

Она ещё не видала парходика.

Метель

Мы с отцом на полу сидели. Отец чинил кадушку, а я держал. Клёпки рассыпались, отец ругал меня; досадно ему, а у меня рук не хватает.

Вдруг входит учительница Марья Петровна и просит свезти её в Ульяновку: пять вёрст, и дорога хорошая, катаная.

Я оглянулся, смотрю на Марию Петровну, а отец крикнул:

— Да держи ты! Рот разинул!

Мать говорит:

— Присядьте.

А Марья Петровна строго спрашивает:

— Вы мне прямо скажите: повезёте или нет?

Отец в бороду говорит:

— Некому у нас везти! — И стал клёпки ругать ещё крепче прежнего.

Марья Петровна повернулась — и в двери. Мать накинула платок и, в чём была, за ней.

Я тоже подумал, что стыдно.

Мать вернулась сердитая:

— Иди, запрягай сейчас, живым духом! Я держать буду. — Оттолкнула меня и села у кадушки.

Вижу — отец молчит. Я вскочил и стал натягивать валенки. Живой рукой запряг. Торопился, а то вдруг отец передумает?

Запряг я новых кобылок в городские санки, сена навалил в ноги, сел на облучок, бочком, важно, и заскрипел санками по улице, прямо к школе.

День солнечный был, больно на снег глядеть — так блестит: парой еду, и на правой кобылке бубенчики звенят. Только кнутовищем в передок стукну — эх, как подымут вскачь! — молодые, держи только.

Я подкатил к учительше под окно. Постучал в окно, кричу:

— Подано, Марья Петровна!

Сам около саней рукавицами хлопаю — рукавицы бабкины, и руки здоровые кажутся — как у большого.

Марья Петровна кричит в двери — из дверей пар, и она — как в облаке.

— Иди погрейся, — кричит, — пока мы оденемся!

— Ничего, — говорю, — мы так, нам в привычку.

Топаю около саней, шлею поправляю, посвистываю. А что? Пятнадцать лет, уж скоро вполне мужик.

Вот вышли они: Марья Петровна и Митька. Она своего Митьку завязала — глаз не видать. Весь в платках, в башлыке, чужая шуба до полу, еле идёт, путается и дороги не видит. Учительша его за руку тянет. А ему тринадцатый год. Летом мы с ним играли, подрались: я его, помню, поколотил. Ему стыдно, что его такой тютей укутали, разгребает башлык варежкой, а я нарочно ему ноги в сено заправляю, прикрываю, армяком:

— Так теплее будет.

Вскочил на облучок, ноги в сторону, обернулся:

— Трогать прикажете? — и зазвенел по дороге.

Скрипят полозья — тугой снег, морозный.

Пять вёрст до Ульяновки мигом мы проехали. Марья Петровна Митьке всё говорила:

— Да не болтай ты — надует, простудишься!

А я на лошадок покрикиваю.

В Ульяновке они у тамошней учительши гостили, а я к дядьке пошёл.

Ещё солнце не зашло, присылает за мной — едем.

Ульяновка, надо сказать, вся в ложбине. А кругом степь; на сто вёрст одни поля.

Дядька глянул в дверь и говорит:

— Вон, гляди, вороньё под кручу попряталось, вон чёрное на самом снегу уместилось — гляди, кабы в степи-то не задуло! Уж ехать — так валяй вовсю, авось проскочишь.

— Ладно, — говорю, — пять вёрст. Счастливо! — И махнул шапкой.

Пока запрягал, пока учительша Митьку кутала, смотрю — сереть стало. Только я тронул, а дядька навстречу идёт, полушубок в опашку.

— Не ехать бы, — говорит, — на ночь-то! Остались бы до утра.

А я стал кричать нарочно, чтобы учительша не услышала, что дядька говорит.

— Хорошо, я матке поклонюсь. Ладно! Спасибо!

И стегнул лошадей, чтобы скорее от него подальше.

Выбрались мы из низинки. Вот она, ровная степь, и дует позёмка, по грудь лошадям метёт снег. И на минуту подумалось мне: «Ай вернуться?» И сейчас как толкнул кто: мужик бы не струсил; вот оно, скажут, с мальчишкой-то ездить — завёз, и ночуй. Пять вёрст всего. Я подхлестнул лошадей и крикнул весело:

— А ну не спи! Шевелися!

Слушаю, как лошади топчут: дробно бьют, — не замело, значит, дороги. А уж глазом не видать, где дорога: метёт низом, да и небо замутилось.

Подхлестнул я лихо, а у самого в груди ёкнуло: не было б греха.

А тут Марья Петровна сзади говорит из платка:

— Может быть, вернёмся, Колька? Ты смотри!

— Чего, — говорю, — там смотреть, пять вёрст всего. Вы сидите и не тревожьтесь. — И оправил ей армяк на коленях.

Тут как раз от Ульяновки в версте выселки, пять домов на дороге. И вот я туда, а тут сугроб. Намело горой. Я хотел свернуть, вижу — поздно. Ворочать буду — дышло сломаю. И я погнался напролом. Сам соскочил, по пояс в снегу, ухаю на лошадей грубым голосом. Они станут, отдышатся и опять рвут вперёд.

Летит снег; как в реке, барахтаются мои кобылки. Собака затыкала на мой крик. Баба выглянула, — кацавейка на голове. Постояла — и в избу. Гляжу: мужики идут, не торопясь, по снегу. Досадно мне стало. Выходит, что я сам не могу. Я толкал что есть мочи сани, нахлёстывал лошадей, спешил стронуть до мужиков, но лошади стали. Мужики подошли.

— Стой, не гони, дурак, выпрягать надо.

Выпрягли лошадей. Учителюшу и Митьку на руках вынесли. Вывернули сани — вчетвером-то эка штука!

— Ночуй, — говорят, — здесь: метёт в поле.

— Ладно, — говорю, — учительша пусть как знает, а я еду, некогда мне возиться! — И стал запрягать. Руки мёрзнут, ремни мёрзлые — колодой стоят. — Еду я — и край! — говорю.

А один старик:

— Добром тебе говорю — смотри и помни: звал я тебя, не мой грех будет, коли что.

Я сел на козлы.

— Ну что, — кричу, — едете? — И взял вожжи.

Марья Петровна села. Я тронул и оглянулся. Старик стоял среди дороги и крикнул мне:

— Вернись!

Я еле через ветер услышал. Без охоты лошади тронули. Ой, вернуться?!

— А, черт! Пошла! — Ударил я кнутом по лошадям. Поскакали. Я оглянулся, и уже не видно ни домов, ни заборов — белой мутью заволкло сзади.

Я скакал напропалую вперёд, и вот лошади стали уже мягко ступать, и я увидел, что загрузает нога. Я придержал и с облучка ткнул кнутовищем в снег.

— Что? Что? — всполохнулась Марья Петровна. — Сбились? Этого я и боялась.

— Чего там бояться? Вот она, дорога.

А кнут до половины залез в снег.

— А ну, задремали! — И дёрнул вожжи.

Лошади пошли осторожной рысцой.

И вот вижу я, что валит уж снег с неба, сверху, несёт его ветер, кружит, как будто того и ждала метель, чтоб отъехал я от выселков. Вот, как назло, заманила и поймала.

И сразу в меня холод вошёл: пропали! Поймала и знает, где мы, и заметёт, совсем насмерть заметёт, и спешит, и воет, и торопится...

— Что? Что? — кричит учительша.

А я уж не отвечаю: чего там «что»? Не видишь, мол, что? Заманила метель в ловушку. Да я сам же, дурак, скакал прямо сюда. Конец теперь!

И вдруг Митька взвыл, рёвом взвыл, каким-то страшным голосом, не своим:

— Назад, назад! Ой, назад! Не хочу! Не надо! Назад! — И стал червём виться в своих намотках. Мать его держит; он бьётся, вырывается и ревёт, ревёт, как на кладбище, рвёт на себе башлык.

Учительша ему:

— Митя! Митя! Да в самом же деле, да что же это? Митечка!

И кричит мне:

— Поворачивай, поворачивай!

У меня руки ходуном пошли. Я задёргал вожжами.

Ветер сечёт, слезит глаза, забивает снегом. Мне от слёз горько и от этого рёву Митькиного, а она ещё причитает. А куда его поворачивать? Всюду одно: снег и снег. Дыбом его подняло и

метёт и крутит до самого неба.

И вдруг учительша нагнулась ко мне, слышу, в самое ухо кричит:

— Пусти лошадей, пусть они сами вывезут, пусть они сами!

Я бросил вожжи. Лошади сами пошли.

А учительша причитает:

— Лошадушки! Милые! Милые лошадушки! Да что же это?

Я отвернулся от ветра, глянул: они с Митькой от снега белые-белые, как из снега вылеплены. Посмотрел — и я такой же. И представилось мне, что занесёт нас, заметёт, и потом найдут нас троих замёрзшими, так и сидим в санях съёжившись. И опять старик причудился: «Звал я тебя, не мой грех, коли что». А теперь уж всё равно никуда не приехать.

И вдруг я увидел, что наехали мы на колею. Глянул я — от наших саней, от подрезных, колея. И увидел я, что кружат лошади. Да куда они вывезут? Неделю они у нас, ездил батька раз всего в волость. Я вырвал клоч сена, свил жгутом, слез, втоптал в снег. И вот опять наехали мы на колею, и вот он, мой жгут, торчит и замести не успело: тут мы на месте крутимся. И понял я вдруг, что можно сто вёрст в этой метели ехать, ехать, и никуда не приедешь, всё равно как не стало на свете ничего, только снег да санки наши.

— Ну что? Ну что? — спрашивает учительша.

— Кружат, — говорю, — никуда не идут, не знают.

И она заплакала.

И вот тут меня ударило: что я наделал! Погубил, погубил, как душегуб. И захотелось слезть и бежать, бежать, пусть я замёрзну, пусть заметёт с головой!

И вдруг Марья Петровна говорит;

— Ничего, мы тут ночевать будем. Авось как-нибудь. Уж вместе, коли что...

И спокойно так говорит. И вот тут как что в меня вошло. Остановил я лошадей. Слез.

— Полезайте, — говорю, — вы, Марья Петровна, с Митькой вниз, я вас укрою. Полезайте, дело говорю. — И стал сено разгребать. Как будто и не я стал, всё твёрдо так у меня пошло.

Смотрю — она слушает, лезет и Митьку туда упрятала. Скорчились они там. Я их сеном, армяком подоткнул кругом, и сейчас же снегом замело их сверху, только я знаю, что они там и тепло им, как будто дети мои, а я им отец.

И как будто я в ум пришёл. Дует ветер мне в ухо, перетянул я шапку на сторону и вспомнил: ведь в левое ухо мне дуло, как я из выселков ехал. Дуть ему теперь в правое, — и выеду назад; не больше версты я отъехал, не может быть, чтобы больше: здесь они должны, заборы эти, быть. Я погнал лошадей и пошёл рядом. Иду правым ухом к ветру. Слышу — кричит что-то Марья Петровна из саней, еле слышать, как за версту голос. Я подошёл:

— Вам чего? Подоткнуть?

— Не отходи от саней, Коленька, — говорит, — не отходи, милый, потом залезешь, погреешься. Гукай на лошадей, чтобы я слышала.

— Ладно, — говорю, — не беспокойтесь.

«Ничего, — думаю, — живые там у меня».

Вижу — лошади стали: по самое брюхо в снегу. Я пошёл вперёд.

Сам всё на сани оглядываюсь — не потерять бы. Лошади головы подняли, глядят на меня бочком, присматриваются. Вижу — там снегу больше да больше. Я тихонько стал сворачивать по ветру. Думаю: сугроб это, и я объеду. И только я снова на выселки сверну — опять намёт. И вижу: не пробиться к выселкам. А если влево за ветром ехать, то должна быть Емельянка, и тут семь вёрст. И вот пошёл я за ветром и вижу: меньше снегу стало — это мы на хребтину выбрались, — сдуло ветром снег.

А я всё так: пройду вперёд и вернусь к лошадям. Веду под уздцы. Пройду, сколько мне сани видны, и опять к лошадям, веду их. А как иду рядом с лошадей, она на меня теплом дышит, отдувается. И уж опять нельзя идти по ветру — снегу намёты впереди; прошёл я — и по грудь мне. Только я уж знаю, что мы по горке идём, а вот тут овраг, а через овраг Емельянка. Лошадь мне через плечо голову положила и так держит, не пускает. Я всё в уме говорю: «Тут, тут Емельянка», и нарочно себе кнутом показываю, чтобы вернее было, что тут.

Иду я рядом с лошадей, и вдруг мне показалось, что мы уже век идём, и нигде мы, и никакой Емельянки нет, и совсем мы не там, и что крутим неведомо где. А тут Марья Петровна высунулась.

— Где, где ты, Коля, Коленька? Что тебя не слышать? Голос подавай! Иди погрейся, я побуду.

— Что? Что? — кричу я. — Сидите, ничего мне.

А она машет чем-то:

— Надень, надень башлык, Николай!

Мне даже и не показалось чудно тогда, что она меня Николаем назвала. Это с Митьки башлык.

И опять ударило меня: «Ведь не доедем до Емельянки! Погубитель я ваш!» Я не хотел башлык брать, мне надо первому замёрзнуть. Пусть я замёрзну, а их живыми найдут.

А она кричит:

— Бери, а то брошу!

И вижу, что бросит.

Я взял, обмотался. Отдам, как замерзать буду. И решил повернуть на Емельянку, попробовать. Теперь она уж чуть сзади должна быть. Сунулся и залез в снег, как в воду. Вдруг стало мне холодно, всего трясти стало, прямо бить меня стало, не могу ничего; думаю, раздёргает меня по клочкам этой тряской. Вот, думаю, как замерзают. И кто знал, что так мне пропасть придётся? И очень так просто, и хоть просто, всё равно назад ходу нет. Я пошёл в другой бок. Всё на санки оглядываюсь, а лошади на меня смотрят. Вижу — меньше тут снегу; стал ногой пробовать. И вдруг пошла, пошла нога ниже... и весь я провалился, и лечу, сосовываюсь вглубь — и тьма. И я уже стою на чём-то, и тихо-тихо, только чуть слышно, как шуршит метель над головой.

Как в могилу попал.

Я пощупал — узко, и острый камень вокруг. И понял, что я в колодец провалился. Роят у нас люди колодцы в степи глубокие. Узкие, как труба, и кругом камнем выкладывают, чтобы не завалились.

Меня всё трясло, всё разрывало холодом, и я решил, что всё пропало, и пусть я здесь замёрзну, пусть меня снегом завалит. Запл

а чу и помру тут, а они как-нибудь, может, и доживут до утра.

Скорчился и сижу. Не знаю, сколько я сидел так. И перестало меня бить холодом, стало тепло мне в яме... И вдруг хватился я! Так и привиделось, как они там в санях, так и заметёт их снегом — и лошадей и санки, и там Митька и Марья Петровна. Вылезти, вылезти! И стал я карабкаться по камням вверх, ноги враспор, руками скребусь, как таракан. Вылез с последним духом и лёг спиной на снег.

Воет метель, пеной снег летит.

Я вскочил, и ничего нет — нет саней. Я пробежал — нет и нет. Потерял, и теперь всё пропало, и я один, и лепит, бьёт снег. Злей ещё метель взмылась, за два шага не видать.

Я стал орать всем голосом, без перерыву; стою в снегу по колено и всё ору:

— Гей! Го! Ага! — Выкричу весь голос, и лягу на снег, пусть завалит — и конец.

Только перевёл дух и тут над самым ухом слышу:

— Ау! Николай!

Я прямо затрясся: чудится это мне... И я пуще прежнего с перепугу заорал:

— Го-го!

И тут увидел: сани, лошади стоят, снегом облеплены, и Марья Петровна стоит, белая, мутная, и треплет её подол ветром. Я сразу опомнился.

— Полезайте, — говорю, — едем.

— Не уходи ты, — кричит, — не надо! Лезь в сани как-нибудь. — И сама, вижу, еле стоит на ветру.

— Залезайте, едем. Я знаю, близко мы.

Она стоит.

— Полезай, — говорю я, — там и Митьке теплей будет, а я в ходу, я не замёрзну. — И толкаю ее в сани.

Пошла. Я опять тронул. И стало мне казаться, что верно близко и вот сейчас, сейчас приедем куда-нибудь. Гляжу в метель и вижу: колокольни высокие вот тут, сейчас, сквозь снег перед нами, высокие, белые. И вдруг вижу — впереди далеко человек идёт. И башлык остряком торчит.

Я стал кричать:

— Дядька! Дядька! Гей, дядька!

Марья Петровна из саней высунулась.

— Дядька! — Я остановил лошадей и к нему навстречу. А это в двух шагах столбик на меже и остро сверху затёсан. А он мне далеко показался.

Я позвал лошадей, и они пошли ко мне, как собаки.

Стал я у этого столба, и что-то мне показалось, будто я куда приехал. Прислонился к лошади, и слышно мне, как она мелкой дрожью бьётся. Я пошёл, погладил ей морду и надумал: дам сена. Вырвал из саней клочок и стал с рук совать лошадям. Они протянулись вперёд, и я увидал, как дрожат ноги у молодой: устала. Выставит ножку вперёд, и трясётся у ней в коленке. И я всё сую, сую им сено; набрал в полу, держу, чтобы ветром не рвало. Кончится у них сила, и тогда всё пропало. Я их всё кормил и гладил. Достал я два калача, что дядька дал. Они мёрзлые, каменные. Я держу руками, а лошадь ухватит зубами и отламывает, и вижу — сердится, что я плохо держу.

Постояли мы. Оглянулся я на сани — замело их сбоку и уж через верх снегом перекатывает.

Я только взял лошадь под уздцы — двинули обе дружно, и я не сказал ничего. Я иду между ними, держусь за дышло, и идём мы втроём. Тихонько идём. Я не гоню — пусть как могут, только бы шли. Иду и уж ничего не думаю, только знаю, что втроём: я да кобылки; слушаю, как отдуваются. Уж не оглядываюсь на сани и спросить боюсь.

И вдруг стена передо мной, чуть-чуть дышлом не впёрлись. И враз стали мы все трое...

Обомлел я. Не чудится ли? Ткнул кнутовищем — забор! Ударил валенком — забор, доски! Как вспыхнуло что во мне.

Я к саням:

— Марья Петровна! Приехали!

— Куда?!

Митька из саней выкатился, запутался, орёт за матерью:

— Куда, куда?

— А кто его знает! Приехали!

Кружечка под ёлочкой

Мальчик взял сеточку — плетёный сачок — и пошёл на озеро рыбу ловить.

Первой поймал он голубую рыбку. Голубую, блестящую, с красными пёрышками, с круглыми глазками. Глазки — как пуговицы. А хвостик у рыбки — совсем как шёлковый: голубенький, тоненький, золотые волоски. Взял мальчик кружечку, маленькую кружечку из тонкого стекла. Зачерпнул из озера водицы в кружечку — пусть плавает пока рыбка.

Поставил под ёлкой, а сам пошёл дальше. Поймал ещё рыбку. Большую рыбку — с палец. Рыбка была красная, пёрышки белые, изо рта два усика свесились, по бокам тёмные полосы, на гребешке пятнышко, как чёрный глаз.

Рыбка сердится, бьётся, вырывается, а мальчик скорее её в кружечку — бух! Побежал дальше, поймал ещё рыбку — совсем маленькую. Ростом рыбка не больше комара, еле рыбку видно. Мальчик взял тихонечко рыбку за хвостик, бросил её в кружечку — совсем не видать. Сам побежал дальше.

«Вот, — думает, — погоди, поймаю рыбу, большого карася».

А подальше, в камышах, жила утка с утятами. Выросли утята, пора самим летать.

Говорит утка утятам:

— Кто поймает рыбку, первый кто поймает, тот будет молодец. Только не хватайте сразу, не глотайте: рыбы есть колючие — ёрш, например. Принесите, покажите. Я сама скажу, какую рыбу есть, какую выплюнуть.

Полетели, поплыли утята во все стороны. А один заплыл дальше всех. Вылез на берег, отряхнулся и пошёл переваливаясь. А вдруг на берегу рыбы водятся? Видит — под ёлочкой кружечка стоит. В кружечке водица. «Дай-ка загляну».

Рыбки в воде мечутся, плещутся, тычутся, вылезти некуда — всюду стекло.

Подошёл утёнок — видит: ай да рыбки! Самую большую взял и подхватил. И — скорее к маме.

«Я, наверно, первый. Самый я первый рыбу поймал — я и молодец».

Рыбка красная, перышки белые, изо рта два усика свесились, по бокам тёмные полоски, на гребешке пятнышко, как чёрный глаз.

Замахал утёнок крыльями, полетел вдоль берега — к маме напрямик.

Мальчик видит — летит утка, низко летит, над самой головой, в клюве держит рыбку, красную рыбку с палец длиной.

Крикнул мальчик во всё горло:

— Моя это рыбка! Утка-воровка, сейчас отдай!

Замахал руками, закричал так страшно, что всю рыбу распугал.

Испугался утёнок да как крикнет: «Кря-кря!» Крикнул «кря-кря» и рыбку упустил.

Уплыла рыбка в озеро, в глубокую воду, замахала пёрышками, поплыла домой.

«Как же с пустым клювом к маме вернуться!» — подумал утёнок, повернул обратно, полетел под ёлочку.

Видит — под ёлочкой кружечка стоит. Маленькая кружечка, в кружечке — водица, а в водице — рыбки.

Побежал утёнок, скорее схватил рыбку. Голубую рыбку с золотым хвостиком. Голубую, блестящую, с красными пёрышками, с круглыми глазками. Глазки — как пуговицы. А хвостик у рыбки — совсем как шелковый: голубенький, тоненький, золотые волоски.

Подлетел утёнок повыше и — скорее к маме.

«Ну, теперь не крикну, не раскрою клюва. Раз уже был разиней».

Вот и маму видно. Вот совсем уже близко. А мама крикнула:

— Кря, что несёшь?

— Кря, это рыбка, голубая, золотая, — кружечка стеклянная под ёлочкой стоит.

Вот и опять клюв разинул, а рыбка — плюх — в воду! Голубенькая рыбка с золотым хвостом.

Замотала хвостиком, заюлила и пошла, пошла, пошла вглубь.

Повернул назад утёнок, прилетел под ёлку, посмотрел в кружечку, а в кружечке рыбка маленькая, маленькая, не больше комара, еле рыбку видно.

Клюнул утёнок в воду и что было силы полетел обратно домой.

— Где ж у тебя рыбка? — спросила утка. — Ничего не видно.

А утёнок молчит, клюва не открывает. Думает: «Я хитрый! Ух, какой я хитрый! Хитрее всех! Буду молчать, а то открою клюв — упусти рыбку. Два раза ронял».

А рыбка в клюве бьётся тоненьким комариком, так и лезет в горло.

Испугался утёнок: «Ой, кажется, сейчас проглочу! Ой, кажется, проглотил!»

Прилетели братья. У каждого по рыбке. Все подплыли к маме и клювы суют.

А утка кричит утёнку:

— Ну, а теперь ты покажи, что принёс!

Открыл клюв утёнок, а рыбки и нет.

Храбрый утёнок

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила.

Как только утята подбегали к тарелке, вдруг из сада вылетала большая стрекоза и начинала кружиться над ними. Она так страшно стрекотала, что перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает.

А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала.

После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять.

Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: «Должно быть, наши утята заболели, что-то они ничего не едят».

Она и не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать.

Однажды к утятам пришёл в гости их сосед, маленький утёнок Алёша.

Когда утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться.

— Ну и храбрецы! — сказал он. — Я один прогоню эту стрекозу. Вот вы увидите завтра.

— Ты хвастаешь, — сказали утята. — Завтра ты первый испугаешься и побежишь.

На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с рублеными яйцами и ушла.

— Ну, смотрите, — сказал смелый Алёша, — сейчас я буду драться с вашей стрекозой.

Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на тарелку.

Утята хотели убежать, но Алёша не испугался.

Не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алёша схватил её клювом за крыло. Насилу она вырвалась и с поломанным крылом улетела.

С тех пор она никогда не прилетала в сад, и утята каждый день наедались досыта. Они не только ели сами, но и угощали храброго Алёшу за то, что он спас их от стрекозы.

Галка

У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, давалась гладить, улетала на волю и назад прилетала.

Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки колечко, положила на умывальник и намылила лицо мылом. А когда она мыло сполоснула, — поглядела: где колечко? А колечка нет. Она крикнула брату:

— Отдай колечко, не дразни! Зачем взял?

— Ничего я не брал, — ответил брат.

Сестра поссорилась с ним и заплакала.

Бабушка услышала.

— Что у вас тут? — говорит. — Давайте мне очки, сейчас я это кольцо найду.

Бросились все искать очки — нет очков.

— Только что на стол их положила, — плачет бабушка. — Куда им деться? Как я теперь в иголку вдену?

И закричала на мальчика:

— Твои это дела! Зачем бабушку дразнишь?

Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит — а над крышей галка летает, и что-то у ней под клювом блестит. Пригляделся — да это очки! Спрятался мальчик за дерево и стал глядеть. А галка села на крышу, огляделась, не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель запихивать.

Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику:

— Говори, где мои очки!

— На крыше! — сказал мальчик.

Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вытащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил оттуда и колечко. А потом достал стёклышек, а потом разных денежек много штук. Обрадовалась бабушка очкам, а сестра — колечку и сказала брату:

— Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка-воровка.

И помирилась с братом.

Бабушка сказала:

— Это всё они, галки да сороки. Что блестит, всё тащат.

Как слон спас хозяина от тигра

У индусов есть ручные слоны. Один индус пошёл со слоном в лес по дрова.

Лес был глухой и дикий. Слон протаптывал хозяину дорогу и помогал валить деревья, а хозяин грузил их на слона.

Вдруг слон перестал слушаться хозяина, стал оглядываться, трясти ушами, а потом поднял хобот и заревел. Хозяин тоже оглянулся, но ничего не заметил. Он стал сердиться на слона и бить его по ушам веткой. А слон загнул хобот крючком, чтоб поднять хозяина на спину. Хозяин подумал: «Сяду ему на шею — так мне ещё удобней будет им править».

Он уселся на слона и стал веткой хлестать слона по ушам. А слон пятился, топтался и вертел хоботом. Потом замер и насторожился.

Хозяин поднял ветку, чтобы со всей силы ударить слона, но вдруг из кустов выскочил огромный тигр. Он хотел напасть на слона сзади и вскочить на спину.

Но он попал лапами на дрова, дрова посыпались. Тигр хотел прыгнуть другой раз, но слон уже повернулся, схватил хоботом тигра поперёк живота, сдавил, как толстым канатом. Тигр раскрыл рот, высунул язык и мотал лапами. А слон уж поднял его вверх, потом ударил оземь и стал топтать ногами.

А ноги у слона — как столбы. И слон растоптал тигра в лепёшку. Когда хозяин опомнился от страха, он сказал:

— Какой я глупый, что бил слона! А он мне жизнь спас. Хозяин достал из сумки хлеб, что приготовил для себя, и весь отдал слону.

Про обезьянку

Мне было двенадцать лет, и я учился в школе.

Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

— Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил — думал, он мне сейчас штуку какую-нибудь устроит, так что искры из глаз посыплются, и скажет: «Вот это и есть обезьянка». Не таковский я!

— Ладно, — говорю, — знаем.

— Нет, — говорит, — в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Её Яшкой зовут. А папа сердится.

— На кого?

— Да на нас с Яшкой. Убирай, — говорит, — куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я всё ещё не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И всё спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

— Вот увидишь. Не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки чёрные. Как будто человечесьи руки в перчатках чёрных. На ней был надет синий жилет.

Юхименко закричал:

— Яшка, Яшка, иди, что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Ай, ай!» — и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул её в шинель, за пазуху.

— Идём, — говорит.

Я глазам своим не верил. Идём по улице, несём такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой.

Дор

о гой Юхименко мне говорил, чем кормить.

— Всё ест, всё давай. Сладкое любит. Конфеты. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар съест, а чай пить не станет.

Я всё слушал и думал: я ей и трёх кусков не пожалею, миленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.

— Ты, — говорю, — хвост отрезал ей под самый корень?

— Она макака, — говорит Юхименко, — у них хвостов не растёт.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях.

Я говорю:

— А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто ещё ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову, толкнулся ножками и — на буфет. Всю причёску маме осадил.

Все вскочили, закричали:

— Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели — все глядели на обезьянку.

И вдруг девочки все в один голос затянули:

— Какая хорошенькая!

А мама всё причёску прилаживала.

— Откуда это?

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

— Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не глянул — стал чесаться мелко и часто чёрной лапочкой.

До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

— Нельзя её на ночь так оставлять — она квартиру вверх дном переверотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету — он на печь. Я его оттуда щёткой — он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда на картину, картина покосилась; я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и, наконец, загнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и защёлкал языком — пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали. Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами, и казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь!

Отец сказал:

— Привязать. За жилет — и к ножке, к столу.

Я принёс верёвку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел верёвку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застёгивался на три пуговики. Потом я поднёс Яшку, как он был, закутанного, к столу, привязал верёвку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему порвать верёвку! Он покричал, позлился и сел печально на пол.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил чёрной лапочкой кусок, заткнул за щеку. От этого вся мордочка у него скривилась. Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие чёрные ноготочки. Игрушечная живая ручка. Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребёночек. И пощекотал ему ладошку. А ребёночек-то как дёрнет лапку — раз, и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он — прыг под стол. Сел и скатился. Вот и ребёночек!

Но тут меня погнали спать.

Я хотел Яшку, привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я всё прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил и, не одеваясь, — к Яшке. Нет Яшки на верёвке. Верёвка есть, на верёвке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю — все три пуговицы сзади расстёгнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на верёвке, а сам удрал. Я искать по комнате. Шлёпаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку — нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз — замёрзнет, бедный! И самому стало холодно. Побежал одеваться.

Вдруг вижу — в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и — ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал.

Яшка спросонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашёл сахарницу, запустил лапу — и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что казалось, летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребёнок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь.

Стащит ножик — и ну с ножом скакать! Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.

Когда я ушёл в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса верёвкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришёл домой, то из прихожей я увидел, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнётся от косяка и едет до стены. Пихнёт ножкой в стену и едет назад.

Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные узоры по моему писанию. Ах ты дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески — все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился...

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвёт лист и дразнит. Отец поймал и побил Яшку. А потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз.

Вот отец идёт утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы. Глянул вверх — никого. Только пошёл — хлоп, опять кусок извёстки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки извёстки, разложил по краям ступенек, а сам прилёг, притаился на лестнице как раз у отца над головой. Только отец пошёл, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу, — это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его все грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая; он

повизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрёшься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребет мне бок: даёт мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смиренно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец роздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтобы долго не возиться». Но уже все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.

Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтём, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждёт — ёрзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке. Яшка взял его в руку, а другой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтём, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рассмешило; он открыл крышку и поднёс Яшке. Яшка сразу запустил лапу, награбастал полную горсть, скорей в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил — беда, особенно за обедом. Все уже кончили, у него на тарелке всё остыло, тогда он только хватится — поковыряет, наспех глотнёт два куска.

— Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает — говорит. Разошёлся — не унять. А Яшка, вижу, по спинке стула поднимается, тихонечко подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

— И, понимаете, тут как раз... — И остановил вилку с картошкой возле уха — на один момент всего.

Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял её с вилки — осторожно, как вор.

А доктор дальше:

— И представьте себе... — И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился — думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывается. А Яшки уж нет — сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а всё-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзинке постель: с простыней, одеяльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи: всё наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему сшили платице, зелёное с пелеринкой.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зелёном платице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой — ёжик, и он ёжиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришёл, что не слышал, как

я вошёл. Это он видел, как стёкла чистили, и давай сам пробовать.

А то оставишь его вечером с лампой, он отвернёт огонь полным пламенем — лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стала с Яшкой, хоть в клетку сажай. Я его и ругал и бил, но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит, он вас уж очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь — конфет там или яблоко, — сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскрёбывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков что-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она раскрасавица. Разряженная. Вся так шёлком и шуршит. На голове не причёска, а прямо целая беседка из волос накручена — в завитках, в локончиках. А на шее на длинной цепочке зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

— Ах, какая обезьянка миловидная! — говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел — прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за причёску. Раскопал все завитки и стал искать.

Дама покраснела.

— Пошёл, пошёл! — говорит.

Не тут-то было! Яшка ещё больше старается: скребёт ноготками, зубками щёлкает.

Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркале, что взлохматил её Яшка, чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился, что было силы, в волосы и на меня глядит дико. Дама дёрнула его за шиворот, и своротил ей Яшка причёску. Глянула на себя в зеркало — чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову и — в дверь.

— Безобразие, — говорит, — безобразие! — И не попрощалась ни с кем.

«Ну, — думаю, — держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмёт. Уж столько мне попадало за эту обезьянку!»

И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и ещё больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой казённый уголь, а вокруг — склады с товаром. И от воров сторожа держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пёс Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьёт и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.

Я посмотрел в окно, вижу — нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду, выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелёное платице, чтобы он не простудился, посадил Яшку к себе на плечо и пошёл. Только я двери раскрыл, Яшка — прыг наземь и

побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелёная куколка, стоит, маленький. Я уж решил, что пропал Яшка — сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке. Но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все ошетились и ждали, чт

о Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка так, что лап не видно было. Взвыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвёт Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошёл: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раза три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чём не бывало. Вот, мол, я — мне нипочём!

А Каштан — в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца — все собаки в ворота. Яшка никого не боялся.

Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с возу на воз перелетает. Вскочит лошади на спину — лошадь топчется, гривой трясёт, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются:

— Смотри, вот как прыгает! Ишь ты! У-ух!

А Яшка — на мешки. Ищет щёлочки. Просунет лапку и щупает, что там. Нащупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу щёлкает. Бывало, что и орехи нащупает Яшка. Набьёт за щёки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашёлся у Якова враг, да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой. Вижу — вышел на двор котище и — прыг на скамью, что стояла под деревом. Яшка как увидел кота — прямо к нему. Присел и идёт не спеша, на четырёх лапах, прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка всё ближе ползёт. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка — на скамью. Кот всё задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползёт на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг — прыг, да не на Яшку, а на дерево. Уцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка всё тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше: привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и всё не спеша целится на кота чёрными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого краю. Смотрит, чт

о Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползёт, и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползёт и ползёт, цепко перебирает всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого веру на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йау, йау!» — каким-то страшным звериным голосом. Я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царём во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле отходили. Яшка стонал, на глазах

слёзы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову > и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает! А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему ещё дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор.

Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него не боялся. Поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. А как настала осень, все в доме в один голос:

— Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку. А чтоб по всей квартире она не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, плохая стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку.

Подыскал наконец товарища, отозвал в сторону и сказал:

— Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил. Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного сучали, хоть признаваться и не хотели.

Про слона

Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были прийти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть: всё думал, как там будет. Вот как если б мне в детстве целый ящик игрушек принесли и только завтра можно его распаковать. Всё думал: вот утром сразу открою глаза, и индусы, чёрные, заходят вокруг, забормочут непонятно, не то что на картинке. Бананы прямо на кусте, город новый — всё зашевелится, заиграет. И слоны! Главное, слонов мне хотелось посмотреть. Всё не верилось, что они там не так, как в зоологическом, а запросто ходят, возят: по улице вдруг такая громада идёт!

Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь, совсем не то: видишь, как всё постепенно меняется. А тут две недели океан — вода и вода, и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли.

Наутро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору, к окну, — готово: город белый на берегу стоит; порт, суда, около борта шлюпки; в них чёрные люди в белых чалмах, — зубы блестят, кричат что-то; солнце светит со всей силы, жжёт, кажется — светом давит. Тут я как с ума сошёл, задохнулся прямо: как будто я — не я, и всё это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по две вахты в море стоять буду — на берег отпустите скорей!

Выскочили вдвоём на берег. В порту, в городе всё бурлит, кипит, народ толчётся, а мы — как околтелые и не знаем, что смотреть, и не идём, а будто нас что несёт (да и после моря по берегу всегда странно ходить). Смотрим — трамвай. Сели в трамвай, сами толком не знаем, зачем едем, лишь бы дальше. Трамвай нас мчит, мы смотрим по сторонам и не заметили, как выехали на окраину. Дальше не идёт. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придём куда-нибудь!

Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко. Солнце над самой маковкой стоит; тень от тебя не ложится, а вся тень под тобой: идёшь и тень свою топчешь.

Порядочно уж прошли, уже людей не стало встречаться, смотрим — навстречу слон. С ним четверо ребят, бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил: в городе ни одного не видали, а тут запросто идёт по дороге. Мне казалось, что из зоологического вырвался. Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало: больших при нём никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанёт раз хоботом — и готово.

А слон, наверно, про нас так думал: идут какие-то необыкновенные, неизвестные — кто их знает? И стал. Сейчас хобот загнул крючком, мальчишка старший стал на крюк на этот, как на подножку, рукой за хобот придерживается, и слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон тем же порядком отправил ещё двоих сразу, а четвёртый был маленький, лет трёх, должно быть, — на нём только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставил хобот — иди, мол, садись. А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит — не возьмёшь, мол. Слон не стал ждать, опустил хобот и пошёл — сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идёт, хоботом мерно покачивает, а мальчишка вьётся около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап! Да так ловко! Поймал его за рубашонку сзади и подымает вверх осторожно. Тот руками, ногами, как жучок. Нет уж! Никаких тебе. Поднял его слон, осторожно опустил себе на голову, а там ребята его приняли. Он там, на слоне, всё ещё воевать пробовал.

Мы поравнялись, идём стороной дороги, а слон — с другого бока и на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас смотрят и шепчутся меж собой. Сидят, как на крыше.

«Вот, — думаю, — здорово! Им нечего там бояться. Если б и тигр попался навстречу, слон тигра поймает, схватит хоботищем поперёк живота, сдавит, швырнёт выше дерева и, если на клыки не подцепит, всё равно будет ногами топтать, пока в лепёшку не растопчет».

А тут мальчишку взял, как козявку, двумя пальчиками: осторожно и бережно.

Слон прошёл мимо нас; смотрим — сворачивает с дороги и напролом в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут. А он через них, как через бурьян, — только ветки похрустывают, — перелез и пошёл к лесу. Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те сейчас повскакали на ноги, схватились за ветку и что-то с неё обируют. А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить, возится, будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тут уж маленький совсем, видно, в роль вошёл: совсем залез на эту ветку, чтоб ему тоже досталось, и работает. Все кончили, слон пустил ветку, а маленький-то, смотрим, так и полетел с веткой. Ну, думаем, пропал — полетел теперь, как пуля, в лес. Бросились мы туда. Да нет, куда там! Не пролезть через кусты: колючие, и густые, и путаные. Смотрим — слон в листьях хоботом шарит. Нащупал этого маленького — он там, видно, обезьянкой уцепился, — достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу впереди нас и пошёл обратно. Мы за ним. Он идёт и по временам оглядывается, на нас косится: чего, мол, сзади идут какие-то?

Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся во двор; там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на него начала кричать что-то.

Нас она сразу не заметила. А мы стоим, через плетень смотрим.

Индуска орёт на слона. Слон нехотя повернулся и пошёл к колодцу. У колодца врыты два столба, и между ними вьюшка; на ней верёвка намотана, и ручка сбоку. Смотрим — слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть; вертит, как будто пустую, вытащил — целая бадья там на верёвке, ведер десять. Слон упёрся корнем хобота в ручку, чтобы не вертелась,

изогнул хобот, подцепил бадью и, как кружку с водой, поставил на борт колодца. Хозяйка набрала воды, ребят тоже заставила таскать — она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил вверх. Хозяйка опять его начала ругать. Слон пустил бадью в колодец, тряхнул ушами и пошёл прочь — не стал воду больше доставать, пошёл под навес. А там в углу двора на хлипких столбиках навес был устроен, только-только слону под него подлезть. Сверху камыш накидан и какие-то листья длинные.

Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас. Мы говорим — слона пришли посмотреть. Хозяин немного знал по-английски. Спросил: кто мы; всё на мою русскую фуражку показывает. Я говорю — русские.

— Не англичане?

— Нет, — говорю, — не англичане.

Он обрадовался, засмеялся, сразу другой стал; позвал к себе.

А индусы англичан терпеть не могут: англичане давно их страну завоевали, распоряжаются там и индусов у себя под пяткой держат.

Я спрашиваю:

— Чего это слон не выходит?

— А это он, — говорит, — обиделся, и, значит, не зря. Теперь нипочём работать не станет, пока не отойдёт.

Смотрим — слон вышел из-под навеса, в калитку и прочь со двора. Думаем, теперь совсем уйдёт. А индус смеётся. Слон пошёл к дереву, оперся боком и ну тереться! Дерево здоровое — прямо всё ходуном ходит. Это он чешется так вот, как свинья об забор.

Почесался, набрал пыли в хобот и туда, где чесал, пылью, землёй как дунет! Раз, и ещё, и ещё... Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках: вся кожа у него твёрдая, как подошва, а в складках — потоньше, а в южных странах всяких насекомых кусачих масса.

Ведь смотрите какой: об столбики в сарае не чешется, чтобы не развалить, осторожно даже пробирается туда, а чесаться ходит к дереву. Я говорю индусу:

— Какой он у тебя умный!

А он хохочет.

— Ну, — говорит, — если бы я полтора года лет прожил, не тому ещё выучился бы. А он, — показывает на слона, — моего деда ещё нянчил.

Я глянул на слона — мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон, слон тут самый главный.

Я говорю:

— Старый он у тебя?

— Нет, — говорит, — ему полтора года лет, он в самой поре! Вон у меня слонёнок есть, его сын, — двадцать лет ему, совсем ребёнок. К сорока годам в силу только входить начнёт. Вот погодите, придёт слониха, увидите: он маленький.

Пришла слониха и с ней слонёнок — с лошадь величиной, без клыков; он за матерью, как жеребёнок, шёл.

Ребята индусов бросили матери помогать, стали прыгать, куда-то собираться. Слон тоже пошёл; слониха и слонёнок — с ними. Индус объясняет, что на речку. Мы тоже с ребятами.

Они нас не дичились. Всё пробовали говорить — они по-своему, мы по-русски — и хохотали всю дорогу. Маленький больше всех к нам приставал: всё мою фуражку надевал и что-то кричал смешное — может быть, про нас.

Воздух в лесу пахучий, пряный, густой.

Шли лесом. Пришли к реке.

Не река, а поток — быстрый, так и мчит, так берег и гложет. К воде обрывчик в аршин. Слоны вошли в воду, взяли с собой слонёнка. Поставили, где ему по грудь вода, и стали его вдвоём мыть. Наберут со дна песку с водой в хобот и, как из кишки, его поливают. Здорово так, только брызги летят.

А ребята боятся в воду лезть: больно уж быстрое течение, унесёт. Скачут на берегу и давай в слона камешками кидать. Ему нипочём, он даже внимания не обращает — всё своего слонёнка моет. Потом, смотрю, набрал в хобот воды и вдруг как повернёт на мальчишек и одному прямо в лицо как дунет струёй! Тот так и сел. Хохочет — заливается.

Слон опять своего мыть. А ребята ещё пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясёт: не приставайте, мол, видите, некогда баловаться! И как раз, когда мальчишки не ждали, думали — он водой на слонёнка дунет, он сразу хобот повернул да в них. Те рады, кувыркаются.

Слон вышел на берег; слонёнок ему хобот протянул, как руку. Слон заплёл свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезть.

Пошли все домой: трое слонов и четверо ребят.

На другой день я уж расспросил, где можно слонов поглядеть на работе.

На опушке леса, у речки, нагроможден целый город тёсаных брёвен: штабеля стоят, каждый вышиной с избу. Тут же стоял один слон. И сразу видно было, что он уже совсем старик: кожа на нём совсем обвисла и заскорузла, и хобот, как тряпка, болтается. Уши обгрызанные какие-то. Смотрю — из лесу идёт другой слон. В хоботе качается бревно — громадный брус обтёсанный. Пудов, должно быть, во сто. Носильщик грузно переваливается, подходит к старому слону. Старый подхватывает бревно с одного конца, а носильщик опускает бревно и перебирается хоботом в другой конец. Я смотрю: что же это они будут делать? А слоны вместе, как по команде, подняли бревно на хоботах вверх и аккуратно положили на штабель. Да так ровно и правильно — как плотник на постройке.

И ни одного человека около них.

Я потом узнал, что этот старый слон и есть главный артельщик: он уже состарился на этой работе.

Носильщик ушёл не спеша в лес, а старик повесил хобот, повернулся задом к штабелю и стал смотреть на реку, как будто хотел сказать: «Надоело мне это, и не глядел бы».

А из лесу идёт уже третий слон с бревном.

Мы туда, откуда выходили слоны.

Прямо стыдно рассказывать, что мы тут увидели. Слоны с лесных разработок таскали эти брёвна к речке. В одном месте у дороги два дерева по бокам, да так, что слону с бревном не

пройти. Слон дойдёт до этого места, опустит бревно на землю, повернёт бревно вдоль дороги, присядет на передние колена, подвернёт хобот и самым носом, самым корнем хобота толкает бревно вперёд. Земля, каменья летят, трёт и пашет бревно землю, а слон ползёт и пихает. Видно, как трудно ему на коленках ползти. Потом встанет, отдышится и не сразу за бревно берётся. Опять повернёт его поперёк дороги, опять на коленки. Положит хобот на землю и коленками накатывает бревно на хобот. Как хобот не раздавит! Глядь, снова уже встал и несёт. Качается, как грузный маятник, бревнище на хоботе.

Их было восемь — всех слонов-носильщиков, и каждому приходилось пихать бревно носом: люди не хотели спилить те два дерева, что стояли на дороге.

Нам неприятно стало смотреть, как тужится старик у штабеля, и жаль было слонов, что ползали на коленках. Мы недолго постояли и ушли.

Мангуста

Я очень хотел, чтобы у меня была настоящая живая мангуста. Своя собственная. И я решил: когда наш пароход придёт на остров Цейлон, я куплю себе мангусту и отдам все деньги, сколько ни спросят.

И вот наш пароход у острова Цейлона. Я хотел скорее бежать на берег, скорее найти, где они продаются, эти зверьки. И вдруг к нам на пароход приходит чёрный человек (тамошние люди все чёрные), и все товарищи обступили его, толпятся, смеются, шумят. И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу — у чёрного человека в руках клетка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку:

— Сколько?

Он даже испугался сначала: так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки клетку. Значит, всего три рубля, с клеткой вместе, и не одна, а две мангусты! Я сейчас же расплатился и перевёл дух: я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл спросить этого чёрного человека, чем кормить мангуст, ручные они или дикие. А вдруг они кусаются? Я спохватился, побежал за человеком, но его уж и след простыл. Я решил сам узнать, кусаются мангусты или нет. Я просунул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж готово — мой палец схватили. Схватили маленькие лапки, цепкие, с коготками. Быстро-быстро кусает меня мангуста за палец. Но совсем не больно: это она нарочно, так, играет. А другая забила в угол клетки и глядит искоса своим чёрным блестящим глазом.

Мне скорее захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает только для шутки. И только я приоткрыл клетку, эта самая мангуста юрк! — и уж побежала по каюте. Она суетилась, бегала по полу, всё нюхала и крякала: кррык! кррык! — как будто ворона. Я хотел её поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангуста мелькнула мимо моей руки, и уж в рукаве. Я поднял руку, и готово: мангуста уж за пазухой. Она выглянула из-за пазухи, крякнула весело и снова спряталась. И вот слышу, она уж под мышкой, и пробирается в другой рукав, и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел её погладить и только поднёс руку, как вдруг мангуста подскочила вверх сразу на всех четырёх лапах, как будто под каждой лапой пружинка. Я даже руку отдернул, будто от выстрела. А мангуста снизу глянула на меня весёлыми глазками и снова: кррык! И смотрю — уж сама на колени ко мне взобралась и тут свои фокусы показывает: то свернётся, то вмиг расправится, то хвост трубой, то вдруг голову просунет меж

задних ног. Она так ласково, так весело со мной играла, а тут вдруг постучали в каюту и вызвали меня на работу.

Надо было погрузить на палубу штук пятнадцать огромных стволов каких-то индийских деревьев. Они были корявые, с обломанными сучьями, дуплистые, толщенные, в коре, как были, — из лесу. Но с отпиленного конца видно было, какие они внутри красивые — розовые, красные, совсем чёрные. Мы клали их горкой на палубу и накрепко укручивали цепями, чтобы в море не разболталось. Я работал, а сам все думал: «Что там мои мангусты? Ведь я им ничего поесть не оставил». Я спрашивал чёрных грузчиков, тамошних людей, что пришли с берега, не знают ли они, чем кормить мангусту, но они ничего не понимали и только улыбались. А наши говорили:

— Давай что попало; она сама разберёт, что ей надо.

Я выпросил у повара мяса, накупил бананов, притащил хлеба, блюдце молока. Всё это поставил посреди каюты и открыл клетку. Сам залез на койку и стал глядеть. Из клетки выскочила дикая мангуста, и они вместе с ручной прямо бросились на мясо. Они рвали его зубами, кричали и урчали, лакали молоко. Потом ручная ухватила банан и потащила его в угол. Дикая прыг! — и уж рядом с ней. Я хотел поглядеть, что будет, соскочил с койки, но уж поздно: мангусты бежали назад.

Они облизывали мордочки, а от банана остались на полу одни шкурки, как тряпочки.

Наутро мы были уж в море. Я всю свою каюту увесил гирляндами бананов. Они на верёвочках качались под потолком. Это для мангуст. Я буду давать понемногу: надолго хватит. Я выпустил ручную мангусту, и она теперь бегала по мне, а я лежал, полузакрыв глаза и недвижно.

Гляжу — мангуста прыгнула на полку, где были книги. Вот она перелезла на раму круглого пароходного окна. Рама слегка вихлялась — пароход качало. Мангуста покрепче примостилась, глянула вниз на меня. Я притаился. Мангуста толкнула лапой в стенку, и рама поехала вбок. И в тот самый миг, когда рама была против банана, мангуста рванулась, прыгнула и обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе под самым потолком. Но банан оторвался, и мангуста шлёпнулась об пол. Нет! Шлёпнулся-то банан. Мангуста прыгнула на все четыре лапки. Я привскочил поглядеть. Но мангуста уж возилась под койкой. Через минуту она вышла с замазанной мордой. Она покрякивала от удовольствия.

Эге! Пришлось перевесить бананы к самой середине каюты: мангуста уж пробовала по полотенцу карабкаться повыше. Лазила она, как обезьяна; у неё лапки, как ручки: цепкие, ловкие, проворные. Она совсем меня не боялась. Я выпустил её на палубу погулять на солнце. Она сразу по-хозяйски всё обнюхала и бегала по палубе так, будто она и сроду нигде больше не была и тут её дом.

Но на пароходе у нас был свой давнишний хозяин на палубе. Нет, не капитан, а кот. Громадный, откормленный, в медном ошейнике. Он важно ходил по палубе, когда было сухо. Сухо было и в этот день. И солнце поднялось над самой мачтой. Кот вышел из кухни поглядеть, всё ли в порядке. Он увидел мангусту и быстро пошёл, а потом начал осторожно красться. Он шёл по железной трубе. Она тянулась по палубе. Как раз у этой трубы суежилась мангуста. Она как будто и не видела кота.

А кот был уже совсем над нею. Ему оставалось только протянуть лапу, чтоб вцепиться когтями ей в спину. Он выжидал, чтоб поудобней.

Я сразу сообразил, чт

о сейчас будет. Мангуста не видит, она спиной к коту, она разнюхивает палубу как ни в чём не бывало. Я бросился бегом. Но я не добежал. Кот протянул лапу, и в тот же миг мангуста просунула голову меж задних лап, разинула пасть, громко каркнула, а хвост — громадный, пушистый хвост — поставила вверх столбом, и он стал, как ламповый ёжик, что чистят стёкла. В одно мгновение она обратилась в непонятное, невиданное чудище. Кота отбросило назад, как от калёного железа. Он сразу повернул и, задрвав хвост палкой, понёсся прочь без оглядки. А мангуста как ни в чём не бывало снова суежилась и что-то разнюхивала на палубе. Но с тех пор красавца кота редко кто видел. Мангуста на палубе — и кота не сыщешь. Его звали и «кис-кис!» и «Васенька!», повар его мясом приманивал, но кота найти нельзя было, хоть обыщи весь пароход. Зато у кухни теперь вертелись мангустаны; они крякали, требовали от повара мяса. Бедный Васёк только по ночам пробирался к повару в каюту, и повар его прикармливал мясом.

Ночью, когда мангустаны были в клетке, наступало Васёкино время.

Но вот раз ночью я проснулся от крика на палубе. Тревожно, испуганно кричали люди. Я быстро оделся и выбежал. Кочегар Фёдор кричал, что сейчас идёт он с вахты, и вот из этих самых индийских деревьев, вот из этой груды, выползла змея и сейчас же назад спряталась. Что змея — во! В руку толщиной, чуть ли не две сажени длиной. И вот даже на него сунулась. Никто не верил Фёдору, но всё же на индийские деревья поглядывали с опаской. А вдруг и вправду змея? Ну, не в руку толщиной, а ну как ядовитая? Вот и ходи тут ночью! Кто-то сказал: «Они тепло любят, они к людям в койки заползают». Все примолкли. Вдруг все повернулись ко мне.

— А ну, зверушек сюда, мангустанов ваших! А ну, пускай они!..

Я боялся, чтобы ночью не убежала дикая. Но думать было некогда. Уже кто-то сбегал ко мне в каюту и уж нёс сюда клетку. Я открыл её около самой груды, где кончались деревья и видны были чёрные ходы между стволами. Кто-то зажёл электрическую люстру. Я видел, как первой юркнула в чёрный проход ручная и следом за ней дикая. Я боялся, что им прищемит лапки или хвост среди этих тяжёлых брёвен. Но уже было поздно: обе мангустаны ушли туда.

— Неси лом! — крикнул кто-то.

А Фёдор уж стоял с топором. Потом все примолкли и стали слушать. Но ничего не слышно было. Вдруг кто-то крикнул:

— Гляди, гляди! Хвост!

Фёдор замахнулся топором; другие отступили дальше. Я схватил Фёдора за руку. Он с перепугу чуть не хватил топором по хвосту — хвост был не змеи, а мангустаны. Он то высывался, то снова втягивался. Потом показались задние лапки. Лапки цеплялись за дерево. Видно, что-то тянуло мангусту назад.

— Помоги кто-нибудь! Видишь, ей не по силам! — крикнул Фёдор.

Никто не помогал, а все попятись назад. Даже Фёдор с топором. Вдруг мангуста изловчилась — видно было, как она вся извивалась, цепляясь за колоды. Она рванулась и вытянула за собой змеиный хвост. Хвост мотнулся; он вскинул вверх мангусту и брякнул её о палубу.

— Убил, убил! — закричали кругом.

Но моя мангуста — это была дикая — мигом вскочила на лапы. Она держала змею за хвост, она впилась в неё своими острыми зубками. Змея сжималась, тянула дикую снова в чёрный проход. Но дикая упиралась всеми лапками и вытаскивала змею всё больше и больше. Змея

была толщиной в два пальца, и она была хвостом о палубу, как плетью, а на конце держалась мангуста, и её бросало из стороны в сторону. Я хотел обрубить этот хвост, но Фёдор куда-то скрылся вместе с топором. Его звали, но он не откликнулся. Все в страхе ждали, когда появится змеиная голова. Сейчас уж конец, и вырвется наружу вся змея. Это что? Это не змеиная голова, это мангустина! И вот и ручная прыгнула на палубу: она впилась в шею змеи сбоку. Змея извивалась, рвалась; она стучала мангустами по палубе, а они держались, как пиявки. Вдруг кто-то крикнул:

— Бей! — И ударил ломом по змее.

Все бросились и кто чем стали молотить. Я боялся, что в переполохе убьют мангуст. Я оторвал от хвоста дикую. Она была в такой злобе, что укусила меня за руку; она рвалась и царапалась. Я сорвал с себя шапку и завернул ей морду. Ручную оторвал мой товарищ. Мы усадили их в клетку. Они кричали и рвались, хватали зубами решётку. Я кинул им кусочек мяса, но они и внимания не обратили.

Я потушил в каюте свет и пошёл прижечь йодом покусанные руки. А там, на палубе, всё ещё молотили змею. Потом выкинули за борт.

С этих пор все стали очень любить моих мангуст и таскали им поесть, что у кого было. Ручная перезнакомилась со всеми, и её под вечер трудно было дозваться: вечно гостит у кого-нибудь.

Она бойко лазила по снастям. И раз под вечер, когда уже зажгли электричество, мангуста полезла на мачту по канатам, что шли от борта. Все любовались на её ловкость, глядели, задрав головы. Но вот канат дошёл до мачты. Дальше шло голое, скользкое дерево. Но мангуста извернулась всем телом и ухватилась за медные трубки. Они шли вдоль мачты. В них — электрические провода к фонарю наверху.

Мангуста быстро полезла ещё выше. Все внизу захлопали в ладоши. Электротехник крикнул:

— Там провода голые! — И побежал тушить электричество.

Но мангуста уже схватилась лапкой за голые провода. Её ударило электрическим током, и она упала с высоты вниз. Её подхватили, но она была недвижна.

Она была ещё тёплая. Я скорей понёс её в каюту доктора. Но каюта его была заперта. Я бросился к себе, осторожно уложил мангусту на подушку и побежал искать нашего доктора. «Может быть, он спасёт моего зверька?» — думал я. Я бегал по всему пароходу, но кто-то уже сказал доктору, и он быстро шёл мне навстречу. Я хотел, чтоб скорей, и тянул доктора за руку. Вошли ко мне.

— Ну, где же она? — сказал доктор.

Действительно, где же? На подушке её не было. Я посмотрел на койку. Стал шарить там рукой. И вдруг: кррык-кррык! — и мангуста выскочила из-под койки как ни в чём не бывало — здоровёхонька.

Доктор сказал, что электрический ток, наверно, только на время оглушил её, а пока я бегал за доктором, мангуста оправилась. Как я радовался! Я всё её к лицу прижимал и гладил. И тут все стали приходить ко мне, все радовались и гладили мангусту — так её любили.

А дикая потом совсем приручилась. И я привёз мангуст к себе домой.

Про волка

Дикий зверь

У меня был приятель, охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня:

— Чего тебе привезти? Говори — привезу.

Я подумал: «Ишь хвастает! Придумаю похитрей чего-нибудь», и сказал:

— Привези мне живого волка. Вот что!

Приятель задумался и сказал, глядя в пол:

— Ладно.

А я подумал: «То-то! Как я тебя срезал! Не хвастай».

Прошло два года. Я и забыл про этот наш разговор. И вот раз прихожу домой, в мне в прихожей уж говорят:

— Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал. «Он волка, — говорит, — просил, так вот передайте». А сам к двери.

Я, шапки не снимая, кричу:

— Где, где он? Где волк?

— У тебя в комнате заперт.

Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит: связанный или просто на верёвке. Подумают, что трушу. А сам думаю: «Может быть, он ходит по комнате, как хочет, — на свободе?»

А трусить я стыдился. Набрал воздуха в грудь и вбежал в свою комнату. Я думал: «Сразу-то он не бросится на меня, а потом... потом уж как-нибудь...» Но сердце сильно билось. Быстрыми глазами я оглядел комнату — никакого волка. Я уж обозлился — надули, значит, подшутили, — как вдруг услышал, что под стулом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головастого щенка.

Говорю вот — увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался: приручу, и будет у меня ручной волк.

Не надул охотник, молодец! Привёз мне живого волка.

Я осторожно подошёл. Волчонок стал на все четыре лапы и насторожился. Я его разглядел: какой он был урод! Он почти весь состоял из головы — как будто морда на четырёх ножках, и морда эта вся состояла из пасти, а пасть — из зубов. Он на меня оскалился, и я увидел, что у него полон рот белых и острых, как гвозди, зубов. Тело было маленькое, с редкой бурой шерстью, как щетина, и сзади крысиный хвостик.

«Ведь волки серые... А потом, щенята всегда бывают хорошенькие, а это дрянь какая-то: одна голова да хвостик. Может быть, и не волчонок вовсе, а просто для смеха что-нибудь. Надул охотник, оттого и удрал сразу».

Я смотрел на щенка, а он пятился под кровать. Но в это время вошла моя мать, присела у кровати и позвала:

— Волченька! Волченька!

Смотрю — волчонок выполз, а мать подхватила его на руки и гладит — чудище этакое! Она его, оказывается, уже два раза поила с блюдца молоком, и он сразу её полюбил. Пахло от него едким звериным запахом. Он чмокал и совался мордочкой маме под мышку.

Мать говорит:

— Если хочешь держать, так надо его мыть, а то вонь будет от него на весь дом.

И понесла его в кухню. Когда я вышел в столовую, все смеялись, что я таким героем ринулся в комнату, будто там страшный зверь, а там — щенок.

В кухне мать мыла волчонка зелёным мылом, тёплой водой, а он смиренно стоял в корыте и лизал ей руки. Как я учил волка «тубо»

Я решил, что сызмальства надо начать волчонка учить, а то, как вырастет большой зверь, с ним уж тогда ничего не поделаешь. Вот он ещё маленький, а зубищи уже какие во рту! А вырастет — держись тогда. Первое, думал я, надо научить его «тубо». Это значит — «не тронь». Чтоб как крикну «тубо», так чтоб он даже изо рта выпустил, что схватил.

И вот я взял волчонка в свою комнату, принёс плошку с молоком и хлебом, поставил на пол. Волчонок потянул носом, учуял молоко и заковылял на лапках к плошке. Только он сунул морду в молоко, я как крикну:

— Тубо!

А он хоть бы что: чавкает и урчит от радости.

Я опять:

— Тубо! — И дёрнул его назад. И вот тут он сразу как рявкнет на меня, голову повернул, зубами щёлкнул — как молнией ударил. И так по-лесному, по-звериному вышло у него, что меня на один миг жуть взяла. Я от взрослой собаки такого не слышал, вот оно что значит волк-то!

Ну, думаю, если он с малых лет так, то что же потом-то? Не подойти тогда уж, прямо съест. Нет, думаю, надо его страхом взять, пусть он привыкнет бояться моей руки.

Я снова крикнул: «Тубо» — и стукнул кулаком волчонка по голове. Он ударился челюстью о плошку и взвизгнул совсем по-ребячьи. Но он не мог оторваться от молока, облизнулся и снова в плошку.

Я крикнул не своим голосом:

— Тубо, дрянь этакая!

И опять ударил кулаком.

Волчонок отскочил от плошки и заковылял на тонких лапках вдоль стенки. Бежал и тряс от боли головой. С мордочки текло молоко, и он был обиженно.

Обежал по стенке всю комнату, и ноги сами понесли его к молоку.

Хоть мне было стыдно, что я ударил так сильно такого маленького, но я всё же решил настоять на своём.

Как только волчонок начал есть, я снова крикнул: «Тубо!» Он наспех огрызнулся и залакал скорее. Я стукнул его кулаком. Он завыл, бросился, и я не успел его схватить, как он уж отворил мордой дверь и стремглав побежал вон. Он побежал к матери, сунул ей в юбку

мокрую морду и заскулил громким голосом на всю квартиру.

Все сбежались, стали гладить волка, а меня ругали, что я мучаю такого маленького.

Маме он всю юбку запачкал молоком и заслюнявил.

Потом он целый день бегал за матерью, а меня так все заругали, что я пошёл гулять.

Я на всех дома обиделся. Я думал: «Им хорошо говорить: „Волченька, миленький да бедненький“, а вот когда вырастет зверище-волчище с громадными зубами, тогда все в доме начнут кричать: „Гляди, что волчище наделал! Твой волк, девай его куда хочешь!“ Тогда всё на меня будут валить. „Завёл, — скажут, — зверя в доме, теперь и расхлёбывай!“. И я решил, что уеду из дому, найму себе маленькую квартирку и буду там жить со своей собакой, с кошкой и с волком.

Я так и сделал: нашёл комнату с кухней, нанял и переехал с моими зверями на новую квартиру.

Надо мной дома смеялись:

— Скажите, Дуров какой у нас завёлся! Со зверями будет жить.

А я думал: «Дуров не Дуров, а волк ручной у меня будет».

Собачка у меня была рыженькая, маленькая. Она была потайного и ехидного характера. Звали её Плишка. Плишка была чуть побольше волчонка. Волчонок, как её увидал, побежал к ней, хотел поиграть, повозиться. А Плишка оцетинилась, оскалилась, как огрызнётся:

— Раф!

Волчонок испугался, обиделся и побежал искать мою мать, но я уже один. Он скулил, бегал по комнате, искал в кухне и прибежал наконец ко мне. Я его приласкал, посадил рядом с собой на кровать и позвал Плишку.

«Дай, — думаю, — я вас примирю». Я заставил Плишку лечь рядом с волчком. Плишка всё время подымала губу, показывала зубы и шепотом ворчала: ей, видно, противно было лежать рядом с волчком. А он пробовал её нюхать, даже лизнул. Плишка дрожала от злости, но куснуть волчка при мне не смела.

«Ну, — думаю, — как же я их одних-то дома оставлю, как пойду на работу? Заест волчка Плишка, закусает». И я решил взять утром Плишку с собой. Она была очень муштрованная, и утром на службе я повесил на вешалку пальто, а Плишке сказал, чтоб стерегла и не сходила с места.

Когда мы с Плишкой вернулись домой, то волчонок так обрадовался Плишке, что бросился к ней со всех своих кривых ножек и с разбегу сбил собаку и навалился на неё. Плишка пружиной вскочила, и я крикнуть не успел — она цап волчка за ухо. Ну, тут вышло не то: волчонок как рывкнет и так лякнул зубами — быстро, как молния, — что Плишка кубарем в угол, прижалась и, рот раскрыв, рычала испуганным хрипом.

Кошка Манефа важно вошла в двери посмотреть, что за скандал. Волчонок тряс больным ухом и бегал по комнате, на всё натёкался крепким лбом. Манефа на всякий случай вскочила на табурет. Я боялся, что ей придет в голову сверху царапнуть волчка.

Нет, Манефа уселась поудобней и только следила глазами, как метался волчонок.

Я принёс с собой овсянки и костей для волка и отдал дворничихе Аннушке сварить.

Когда она принесла горячий котелок, то сейчас же заметила волчонка:

— Что это собака какая безобразная? — И присела на корточки. — Это какая же порода будет?

Я не хотел, чтоб в доме знали, что есть волк, и думал, что бы такое соврать, как тут Аннушка пригляделась и говорит:

— Уж не волчонок ли? Да верно ведь, волчонок. Ах, бедный ты мой!

Смотрю — уж гладит его. Я сказал:

— Аннушка, пожалуйста, никому не надо говорить. Я хочу вырастить, пусть ручной будет.

— Да мне зачем же рассказывать? — говорит Аннушка. — А только, знаете, говорится: сколько волка ни корми, он всё в лес глядит.

Всё же я договорился с Аннушкой, что она будет у меня прибирать и варить, а волку варить варево из овсянки с костями каждый день.

Я дал всем зверям есть, каждому в своём углу, каждому из своей кормушки. Волчонок чавкал своей овсянкой, а Плишка своё быстро съела и оглянулась на меня. Я в зеркало следил за ней, а она этого не понимала и думала, что я сзади ничего не увижу. И вот я вижу в зеркале, как она по стенке тихонько крадёт к волку. Ещё раз оглянулась — и дальше. Оскалилась всем ртом, глазищи злые, и надвигается шаг за шагом.

«Ну, — думаю, — залезь ты ему в кормушку, вытяну я тебя ремнём, будешь знать. Всё вижу, голубушка».

Но вышло иначе. Только Плишка сунула морду к кормушке, волк — врык! — и лякнул зубами, да не мимо, а прямо Плишку за морду. Она отскочила с визгом, и тут с ней сделался прямо-таки припадок: она носилась по комнате, по кухне, кидалась в прихожую и так отчаянно выла, будто на ней вся шерсть огнём горит. Я её звал, но она делала вид, что не слышит, и только визжала ещё пронзительней. А волчонок чавкал в своей плошке. Я ему подлил туда молока, и он спешил, лакал, только дух успевал переводить. Я выгнал Плишку на двор и во дворе слышал, как она пробовала скандалить.

Все соседи думали, что я нечаянно ошпарил собаку кипятком.

А волка я каждый день учил «тубо». И теперь дело двинулось вперёд. Только я крикну «тубо», волчонок стремглав бежал прочь от кормушки. Собаки скандалят

Я каждый вечер ходил со зверями на прогулку. Плишка была приучена бежать рядом с правой ногой, а Манефа сидела у меня на плече. Улицы были около моей квартиры пустынные, и, правду сказать, места воровские — народу попадалось мало, и некому было пальцем показывать, что вот идёт взрослый мужчина с кошкой на плече. И вот я решил теперь пойти гулять вчетвером — взять с собой волка. Я купил ему ошейник, цепочку и пошёл вечером по улице. Волчонок ковылял с левой стороны, но его приходилось подёргивать за цепочку, чтоб он шёл рядом. Думал, нас никто не заметит. Но вышло не так. Нас заметили и подняли скандал. Только не люди, а собаки.

Первой попалась маленькая собачонка, Плишкина знакомая. Она разбежалась было к нам, но вдруг насторожилась, зафыркала и стала красться за волчком, нюхать след. Потом бросилась в свои ворота и оттуда таким залилась тревожным лаем, что во всех дворах отозвались собаки. Я никогда и не думал, что столько собак на нашей улице. Собаки стали выскакивать из ворот, встревоженные, ошестинились и со злым испугом издали надвигались на волка. А он жался к моей ноге и вертел своей лобастой мордой. Я уж думал: не взять ли

мне волчонка на руки да не повернуть ли домой, пока собаки не бросились на него? Из ворот уж стали высовываться люди, глядеть, что случилось. Плишка снизу заглядывала мне в лицо: что же, дескать, делать? Какой, значит, переполох из-за этого чучела мордатого! Но я уж не боялся: собаки ближе трёх шагов не решались подойти к волчонку. Каждая провожала нас лаем до своего дома и пятилась задом в свои ворота.

Успокоился и волк. Он уже не вертел головой, а только не отставал и бежал, плотно держась у моей ноги.

— Что, — сказал я Плишке, — наша взяла?

Мы вышли на людные улицы, где собак не было, а когда возвращались, уже все ворота были на запоре и собак на улице не было.

Но Волчик очень радовался, когда пришёл домой. Он стал возиться, как щенок, повалил Плишку, валял её по полу, а она терпела и не смела при мне огрызаться. Вырастает

А на другой день, когда я возвращался, я увидел на дворе Аннушку. Она в лоханке стирала бельё, а около неё, свернувшись клубочком, грелся на солнце волчонок.

— Я его на солнышко взяла, — говорит Аннушка. — Уж что, в самом деле, и свету животное не видит!

Я позвал:

— Волчик! Волчик!

Он нехотя встал, расставил ноги, как поломанная кровать, и стал потягиваться, совсем как собака. Потом вильнул своим верёвочным хвостиком и побежал ко мне.

Я так обрадовался, что он идёт на зов, что сейчас же без всякого «тубо» скормил ему сдобную булку. Я хотел уже взять его в комнату, но тут Аннушка говорит:

— Как раз стирать кончила, а вода осталась. Давайте-ка я и его. А то дух от него уж очень волчий.

Подхватила его под мышку и поставила в лохань. Она его мыла, как хотела, и он стоял, смешной, весь в белой пене. Он даже ни разу не зарычал на дворничиху, когда она его обдавала тёплой водой начисто. С тех пор его мыли каждую неделю. Он был чистый, шерсть стала блестеть, и я не заметил, как уж хвост у волчонка из голой верёвки стал пушистым, сам он стал сереть и обратился в хорошенькую, весёлую собачку. Бой с Манефой

И вот раз кормил я моих зверей, и Манефа, сидя на табуретке, доедала рыбёшку. Волчонок кончил своё и полез к кошке. Он стал лапками на табурет и потянулся мордой к рыбе. Я не успел крикнуть «тубо», как Манефа зашипела, хвост веником и — раз! раз! — надавала волку по морде. Он завизжал, присел и вдруг бросился уж настоящим зверем на кошку. Всё это было в одну секунду: волк опрокинул табурет, но кошка подпрыгнула на всех четырёх лапах и успела рвануть его когтями по носу — я боялся, чтоб не выцарапала глаза. Я крикнул: «Тубо!» — и бросился к волку. Но он уж сам бежал ко мне, а кошка наскочивала сзади и старалась процарапать сквозь шерсть. Я стал гладить и успокаивать волчонка. Глаза были целы. Оказался порядочный шрам на носу. Шла кровь, и волчонок зализывал языком больное место. Плишка во время боя скрылась. Я с трудом вызвал её из-под кровати.

Вечером волк лежал на подстилке. Манефа — хвост трубой — королевой разгуливала по комнате. Когда проходила мимо волка, он рычал, но она и головы не поворачивала, а спокойно тёрлась о мою ногу и мурлыкала на сытое брюхо. «Особой породы»

В доме уж все считали, что у меня две собаки. И когда спрашивали про Волчика, я говорил, что это овчарка — мне подарили — особой породы.

Но вот раз ночью я проснулся от странного звука. Мне спрросонья показалось сначала, что пьяный ревёт за окном. Но потом разобрал я, в чём дело. Волк. Волк завыл.

Я зажёл свечку. Он сидел среди комнаты, подняв к потолку морду. Он не оглянулся на свет, а выводил ноту, и такую лесную звериную тоску выводил он голосом на весь дом, что делалось жутко.

Вот тебе и «овчарка особой породы». Этак он весь дом перебудит, и уж тут не скроешь, что волк. Пойдут охи, ахи: «Волк во дворе». Все хозяйки заскандалят и выгонят меня завтра же вон из дому с моими кошками и овчарками. Наверху барыня-генеральша живёт, злая и вздорная. «Помилуйте, — скажет, — живёшь, как в лесу, всю ночь волки воют. Благодарю покорно». Это я всё знал наверное, и надо было сейчас же прекратить этот вой.

Я вскочил, присел к волку, стал гладить, но он глянул на меня и снова запрокинул голову.

Я дёрнул его за ошейник и повалил на пол. Он как будто опомнился, встал, встряхнулся, зазвонил пряжками. Я побежал в кухню и достал толстую кость из супа. Волк улёгся на подстилке и стал грызть. Грыз он своими белыми зубами большие воловьи кости, как сухари. Только хрустело. Я потушил свечу, стал было засыпать — как дёрнет мой волк ноту, крепче прежнего. Я быстро оделся и вытащил волка во двор. Я стал с ним играть, бегать по двору. И я заметил тут, ночью, что, не зная, я принял бы его за порядочного дворового пса. И вот никто не замечал: пёс мой не лаял. Беда, если узнают, что он по ночам воет!

Теперь мне ночью не стало покоя. Я по часу бывало сидел и уговаривал волка, я его занимал, совал ему кости, чтоб как-нибудь он забыл про вой. Я за ним ухаживал, как за больным, у которого бывают припадки. Недели через две он бросил выть. Но за это время мы с ним сдружились. Когда я возвращался домой, он ставил мне на плечи лапы, и я чувствовал, какие они крепкие у него, — как железные палки. Я с ним гулял днём, и все смотрели на большую собаку с особенной походкой. Когда он бежал, он так легко пружинил задними ногами; он умел смотреть назад, совсем свернув голову к хвосту, и бежал в то же время прямо вперёд. Узнали

Он был совсем ручной, и знакомые, когда приходили, гладили его и трепали по спине, как простую собаку.

И вот раз сию я в парке на скамейке. Меж коленями у меня уселся на земле волк и дышит жарким духом, свесив длинный язык через зубы.

Маленькие дети играли в песке, а няньки на скамейке лузгали семечки.

Ребята стали подходить ко мне.

— Какая хорошая собака! Пушистая и язык красный. Не кусается?

— Нет, — говорю. — Она смиренная.

— Можно немножко погладить?

Я сказал волку «тубо». Он уж это хорошо знал, и дети, кто посмелее, стали осторожно гладить.

Я гладил заодно с ними, чтоб волк знал, что и моя рука тут.

Няньки подходили, спрашивали:

— Не укусит?

Вдруг одна нянька подошла, глянет — да как заохает:

— Ой, матушки, волк!

Дети взвизгнули, прыгнули, как цыплята. Волк так перепугался, что волчком повернулся на месте, запрятал мне между колен свою морду и прижал уши.

Когда все немного успокоились, я сказал:

— Сами волка напугали. Видите, какой он смирный.

Но уж куда там! Няньки ребят за руку прочь тянут и оглядываться не велят. Только два мальчика, что без нянек были, подошли ко мне, стали на метр и говорят:

— Верно — волк?

— Верно, — говорю.

— Настоящий?

— Настоящий.

— Ага, — говорит, — то-то ты его себе к руке и привязал. Ну, дай ещё погладить, настоящего-то.

Это было действительно так, я цепь от волка привязывал ремнём к левой руке: в случае дёрнется или бросится, уже от меня он не оторвётся. Пусть я даже упаду с ног — всё равно не уйдёт. Прозевал

Аннушка так приучила волка, что он за ворота один ни за что. Подойдёт к калитке, глядит на улицу, носом воздух тянет, нюхает, рычит на проходящих собак, но за порог лапой не переступает. Может быть, сам он боялся один выскакивать.

Вот я раз вернулся домой. Аннушка сидела во дворе, шила на солнышке под окном, а волк у ней в ногах клубком лежал — серая большая животина. Я окликнул; волк вскочил ко мне. И тут я вспомнил, что не купил папирос. А разносчик стоял в десяти шагах от ворот с лотком. Я выскочил из ворот; волк — за мной. Беру у разносчика сдачу и слышу — сзади собачий лай, рвяканье, склока. Оглянулся — ай, беда! Сидит мой волк, прижался в угол ворот, а две большие собаки набросились, припёрли его, наступают. Волк головой крутит, глазищи горят, а зубы лясают быстро, как выстрелы: хляст! хляст! Вправо, влево!

Собаки напирают, ищут местечка, где б ухватить, и лай такой стоит, что моего крика не слышно.

Я бросился к волку. Собаки, видно, поняли, что вот человек бежит им на помощь, и одна бросилась на волка.

Мигнуть не успел, как волк рванул её за загривок и швырнул на мостовую. Она покатилась и с визгом пустилась прочь. Другая прыгнула за меня.

Волк ринулся, сбил меня с ног, но я успел ухватить его за ошейник, и он проволоч меня шага два по мостовой. Лоточник с лотком — скорей в сторону. А волк рвётся, я на спине барахтаюсь, но ошейника не отпускаю.

Тут выбежала из ворот Аннушка.

Она забежала спереди и уткнула волчью морду к себе в колени.

— Пускайте, — кричит, — я уж взяла!

Верно: Аннушка взяла волка за ошейник, и мы вдвоём увели его домой.

Когда я потом вышел за ворота, то увидел кровь.

Кровавая дорожка шла через площадь, куда побежала собака.

Я вспомнил, что на наш скандал собралось смотреть много народу, а из окон высунулись жильцы, и кто-то кричал:

— Бешеная! Бешеная!

Это кричала генеральша, что жила надо мной. Беда

Я два дня не выпускал волка во двор, только по вечерам водил его на цепочке гулять. На вторую ночь он завыл, и завыл нестерпимо: громко, как труба, и так отчаянно, так тоскливо, будто ревет над покойником. Мне в потолок постучали.

Я выскочил с волком во двор. Я видел, как в окнах надо мной вспыхнул свет, как замелькала тень. Видно, барыня всполошилась. Наутро я слышал, как во дворе она кричала на дворника:

— Безобразие! Где это позволяют держать бешеных собак в доме? Воет волком по ночам. Всю ночь не спала. Сейчас же заявлю! Сейчас же!

Аннушка принесла овсянку волку вся заплаканная.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Да уж чего хуже — скандалит барыня. В полицию, говорит, заявлю. Так дворника этого, мужа моего, значит, вон из дому: укрывает бешеных собак, ни за чем, говорит, не смотрит. А он мне — как родной.

— Кто это? — говорю.

— Да Волчик-то. — И присела к нему, гладит: — Кушай, кушай, родименький. Сиротинка моя!

Когда я шёл со службы домой, меня на улице остановил полицейский пристав:

— Простите, это вы волка держите?

Я смотрел на пристава и не знал, что сказать.

— Да ведь я давно знаю, — говорит пристав. Ухмыляется и ус покручивает. — Там, видите, жалоба поступила. Генеральша Чистякова. Но, знаете, вот что вам посоветую: подарите-ка мне вашего зверя, ей-богу. — И пристав просительно улыбнулся. — Ей-богу, подарите. У меня в имении овцы, а стерегут их овчарки. Вот этикие. — И показал почти на метр от земли. — Так вот от вашего волка хорошие детки будут — злые, первый сорт. И он с собаками сдружится, на воле жить будет. А? Право же. А в городе вам одни скандалы с ним будут. Это уж я ручаюсь, что скандалы будут. — И тут пристав нахмурился. — Вот уж одна жалоба есть: имейте в виду. Так как же? По рукам, что ли?

— Нет, — сказал я. — Мне жалко дарить. Я как-нибудь устрою.

— Ну, продайте! — крикнул пристав. — Продайте, черт возьми! Сколько хотите?

— Нет, и не продам, — сказал я и пошёл скорее прочь.

— Так я украду! — крикнул пристав мне вслед. — Слышите: у-кра-ду!

Я махнул рукой и пошёл ещё скорей. Дома я рассказал Аннушке, что говорил пристав.

— Берегите волка, — сказал я.

Аннушка ничего не ответила, только насупилась.

На дворе я столкнулся с генеральшей Чистяковой. Она вдруг загородила мне дорогу. Глядит мне зло в глаза, и нижняя губа трясётся. И вдруг как стукнет зонтиком об землю:

— Скоро ли мы избавимся от опасности?

— От какой? — спрашиваю.

— От собаки от бешеной! — кричит генеральша.

— Вас, видно, мадам, покусала собака, только это не моя.

И я пошёл в ворота. Из плена

Прошло дней пять. Я был на службе. Мне сказали, что меня спрашивает какая-то женщина, и чтоб сейчас, немедленно. Я побежал.

На лестнице стояла Аннушка.

— Ой, бегите, — говорит, — скорей бегите: волка нашего пристав в участок взял! Там в полиции сидит.

Я схватил шапку. По дороге Аннушка мне сказала, что пристав приказал дворнику отвести волка в полицию и что дворник не посмел послушаться: отвёл и привязал во дворе в полиции.

Когда я открыл калитку в полицейских воротах, то сразу увидел в конце двора гурьбу народа: городовые и пожарные густой кучей стояли, галдели, вскрикивали. Я быстро пошёл через двор и, уж когда подходил, слышал, как кричали:

— Что, серый, попался?

Я протолкался через толпу. Волк на цепочке был привязан к кольцу. Он сидел на задних лапах, поджав хвост, и огрызался на городских.

Волк первый заметил меня. Он дёрнулся, вскочил на задние лапы и натянул цепь.

Все отпрянули назад. Я снял цепь с кольца и быстро намотал на руку.

Кругом заголосили:

— Куда ты его? Что, он твой?

— А если ты хозяин, так возьми! — крикнул я. Все расступились.

Вдруг кто-то заорал:

— Калитку на запор, скорей!

И один городской побежал бегом к воротам.

— Стой! Волка спущу! — закричал я на весь двор. Городовой отскочил и стал.

А волк меня так тянул, что я едва вприпрыжку поспевал за ним. Мы добежали до калитки, я откинул дверь, волк прыгнул через порог и бросился вправо, домой. Сзади засвистели. Мы были уж за углом. Сейчас площадь, а через площадь и наш дом. Я слышал, что сзади топали ноги, свистели свистки. Но я не оглядывался и бежал. Вот сейчас площадь. Площадь пустая. А вон Аннушка стоит у ворот.

Я бросил цепочку, и волк громадными прыжками стал удирать к дому. Аннушка присела на корточки, и я видел, как она поймала его за шею.

Я перевёл дух и оглянулся: двое городских остановились. Один зло плюнул в землю и махнул рукой. Совсем конец

Я решил переехать в другой район, где этот пристав не начальник и где уж он ничего не значит.

Я стал подыскивать новую квартиру. Я корил дворника за подлость:

— Зачем же было уводить волка у меня? За что же гадость мне такую делать?

— Да вы, — говорит, — в моё положение войдите. Вам волк — забава, а ведь если я его не приведу, когда велют, это выходит, что с места вон. Я ведь только метлой и могу орудовать. Выгонят — куда пойду? Вы меня, что ли, кормить будете? Разве к вам в волки наняться?

Я уж не знал, что говорить.

Ладно, перееду.

Я видал пристава через улицу.

Он сделал хитрое лицо и лукаво погрозил мне пальцем. А я ему тоже.

Я купил волку намордник. Он сначала срывал его лапами, но всё-таки привык, и теперь, в ошейнике, с намордником, он был совсем как собака.

Всё свободное время я ходил с волком: мы искали квартиру.

Я уж совсем нашёл, оставалось только переехать.

И вот я раз вернулся домой со службы. В воротах Аннушка в слезах:

— Опять! Опять!

— Что, увели? — И я дёрнулся, чтоб бежать в полицию, но Аннушка ухватила меня за рукав:

— Без дела пойдёте. Увёз, увёз, окаянный, к себе. Сама видела, как на подводу поклали. Связали — и на сено. А коней не удержать.

Я всё-таки побежал в участок.

Пристава не было: он уехал к себе в имение.

Я узнал: всё было, как сказала Аннушка.